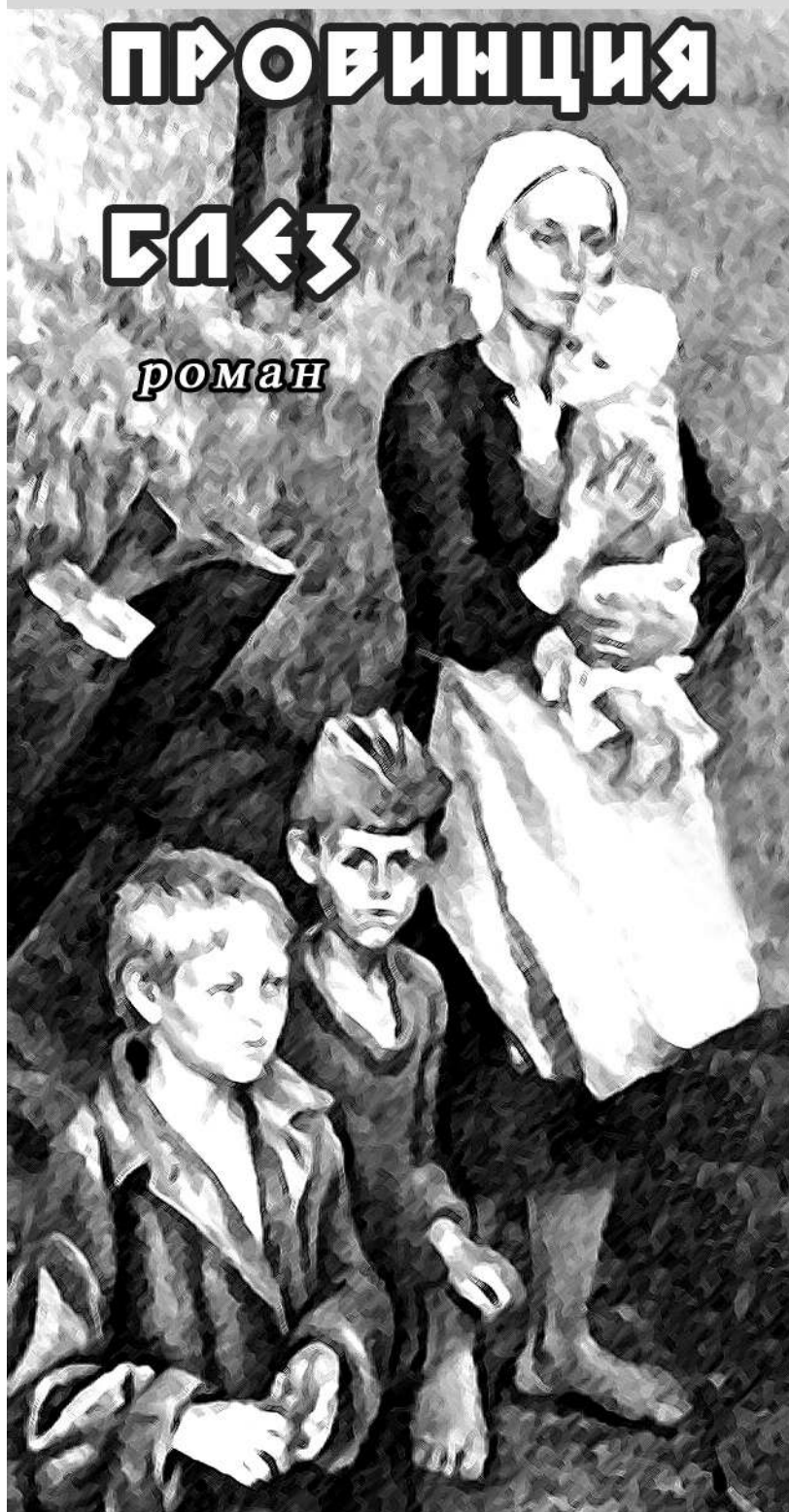


ПРОВИНЦИЯ**БЛЕЗ****роман****Владимир
ПРОНСКИЙ***г. Москва**Избранные главы***ПРОВОДЫ**

Война пришла к Надёжке Савиной через два месяца после начала. До этого дня она ещё не могла осознать, что же происходит в мире, стране, в Князеве. Почему сразу столько перемен и зачем? Зачем людям война? Пока она была далеко, никак и ничем не беспокоила, не верилось, что где-то убивают людей, горят дома, посева, гибнет скот. Кому от этого выгода? Ну, вот и докатилась.

Вечером двадцать третьего августа 1941 года, вернувшись из военкомата, где с начала войны служил на сборном пункте, Павел, муж Надёжки, сказал отцу, что утром уходит на фронт. Акуля, мать его, узнала об этом после ужина, а Надёжка — когда легли спать. В предыдущие месяцы Павел и прежде иногда приходил ночевать домой, и это обстоятельство наводило Надёжку на мысль, что война действительно далеко, до них не докатится, быстро закончится и не коснётся её, как в последние годы бывало.

Она ведь и о финской узнала от Павла, когда он приехал из госпиталя, а пугаться тогда было некогда. И теперь тоже казалось, что муж только на время сменил колхозную работу на военкомовскую службу, куда его определили как человека с боевым опытом. Когда он не приходил два-три дня, жена вечером сама шла в Пронск, а там издали, схоронившись под кустом акации, наблюдала, как Павел, одетый в военное, обучает строевому шагу ожидавшихся отправки на фронт хмурых мужиков. Надёжка, замирая, слушала, как он громко и властно подаёт команды: «Стройся!», «Правое плечо вперед!»,

«Прямо!» Ей казалось, что это и не Павел вовсе, а кто-то другой — по-особому ладный и красивый в новой, пока не выгоревшей форме с малиновыми петлицами. Павел быстро привык к визитам жены. Когда новобранцы собирались у походной кухни и двор военкомата пустел, он шёл к кусту акации и, притворившись, будто случайно, обнаруживал её.

— Вот где вражеский лазутчик окопался! — говорил он, смеясь и обнимая жену, прижимая к себе.

Но веселость быстро пропадала, он грустно смотрел на желтеющие липы близкого кладбища и молчал, молчал... Надёжка в такие минуты боялась нарушить тишину, только заглядывала ему в глаза, стараясь угадать, о чём он думает.

Через малое время, пролетавшее для Надёжки мгновенно, поцеловав, Павел поднимался с выгоревшей за лето травы и, будто извиняясь, говорил:

— Надо идти... Скоро вечерняя поверка.

Ей же не хотелось уходить, и, распрощавшись с Павлом, она ещё долго сидела у акации, прислушиваясь к суетливой жизни военкомата, к частым командам. Только когда двор затихал, нехотя поднималась и шла домой, растерянная, измученная думами, и ждала Павла. Обычно он появлялся в Князеве, когда очередную партию мобилизованных отправляли на формирование, и тогда в недолгие часы летней ночи Надёжка боялась потерять мужа хотя бы на мгновение. Он чувствовал её состояние, оно невольно передавалось ему, и ненасытная любовь, какой они запасались словно впрок, доводила обоих до полубморочного состояния. К середине лета она уже знала, что забеременела, но сказать Павлу боялась, считая это своей виной. Она надеялась поделиться с ним в последнюю ночь, но так и не смогла пересилить себя, да и не до этого было: хотелось поговорить обо всём сразу, но так ничего и не успела толком сказать, всё чего-то ревела и ревела, словно слёзы могли заменить самые заветные слова.

Когда чуть рассвело, Павел начал собираться: он хотел уйти из Князева до того часа, когда выгоняли скотину, потому что начинал стыдиться людей, пока ничего прямо не говоривших, но по косым взглядам, ухмылкам, иной раз пробегавшим по лицам, чувствовал, что они осуждают

его тыловую службу, которую и службой-то никто не считал. Более всех ярился сосед Тимофей Фокин. Встречаясь с Павлом, он демонстративно плевал в его сторону и гадливо морщился, словно не с соседом встретился, а на змею наступил. Как же, его сына в первые дни призвали, а Павел всё ещё с женой любитесь! Но теперь пришёл и Павлов черёд; всех подчищала война, да и как же иначе, когда бои уж шли под Смоленском, а в разговорах всё чаще и чаще упоминали Москву. Павел был рад, что и он наконец-то будет вместе со всеми. Вот только неясная тревога мучила за семью. У него была свежа в памяти финская кампания, когда на глазах погибали люди, погибали легко, вместо них вставали новые, о прежних моментально забывали, будто и не было их. Ведь и с ним может такое случиться: в первом же бою скосит, и всё, брат, нет тебя. А как же мать с отцом, Надёжка, ребята? Много в эти дни было у Павла вопросов.

Одевшись, он вышел во двор, где слишком долго брлся и умывался, замечая в руках своих лёгкую дрожь. Пока томился во дворе, Акуля успела приготовить завтрак, выйдя на заднее крыльцо, позвала сына за стол, и, поёживаясь от утренней прохлады, он стеснительно вошёл в избу, словно чужой.

— Садись, сынок, поешь на дорогу, — сказал Григорий и неловко подвинул к столу лавку. Акуля в этот момент заплакала, а Надёжка, прикусив губу, отвернулась. — Хватит вам, — цыкнул на них Григорий, — распопливились...

Павел несколько раз ткнул ложкой в сковородку, но еда не шла, и он поднялся из-за стола, подошёл к спящим за перегородкой на одной кровати сыновьям. Поцеловал, погладил по головкам и некоторое время стоял около них, ничего во сне не ведавших, запоминая. Ничего не видя от застилавших глаза слёз, стыдясь их, Павел пошёл к двери, подхватил у порога вещмешок и ступил на крыльцо. Остановился. Мешая друг другу, следом вышли мать с отцом, Надёжка. Акуля задрожала, прижалась к сыну. Григорий тоже неловко прильнул, а Надёжка, закрыв пол-лица руками, испуганно смотрела на Павла, не зная, что делать. Когда он расцеловался с матерью и отцом, сказал ей негромко:

— Проводи чуток...

Они шли по селу, как в молодости, держась за руки. Из дворов, сложив руки на передниках, на них смотрели бабы, встречавшиеся старики первыми, здороваясь, приподнимали кепчонки и бубнили что-то одобрителное. Павел молча кланялся им, а они, словно онемев, молча же провожали его взглядами. Увидев Надёжку с мужем, выскочила из избы Вера, подбежала к Павлу, уцепилась за рукав:

— Может, моих где увидишь... Передай, что у нас всё хорошо, никто не болеет, сыты мы.

— Выпивки готовьте побольше, — через силу улыбнулся Павел, — чтобы, когда вернёмся, погулять так погулять.

— Спаси тебя Христос, — благословила Вера и торопливо перекрестила Павла, отстала, а он ещё шибче зашагал вдоль порядка, и Надёжка за ним едва попевала.

До самых расставанных вётел на выходе из Князева Павел молчал, шёл торопливо и только у вётел нерешительно остановился.

— Дальше один пойду, — сказал он, не глядя на жену, но тотчас посмотрел ей в глаза, обнял, так и стоял, прислонившись губами к её голове, чувствуя, как под волосами ходит мелкая и трясучая дрожь.

— Скажи что-нибудь! — попросила она.

— Да что сказать-то? Детишек береги... Ну, ладно, пойду... — увидев её слёзы, спохватившись, чмокнул в губы и торопливо зашагал по большаку, решив не оглядываться, не травить душу, но шагов через сто не удержался, остановился и долго махал, махал... Пока дошёл до Пушкинской слободы, несколько раз оглядывался: Надёжка стояла на прежнем месте, словно окаменела.

Когда поравнялся с первыми слободскими дворами, пробежался взглядом по ухоженным избам, то сразу вспомнил свою избёнку-развалюху, вспомнил, что всю зиму почти просидел с незаживающей ногой, из-за которой порушилось столько надежд. «Как бы было сейчас хорошо, будь на избе крыша новая, старновочкой покрытая, — думал Павел, — а ещё лучше, если бы и балку поменяли, и простенок перебрали. Да-а... Видно, не судьба! Но ничего — немцев разобьём, все жилы вытяну из себя, а избу новую поставлю!»

За думами Павел не заметил, как дошёл до

Пронска, в военкомате доложил о прибытии дежурному, и понесло, закружило... В тот же день новую группу мобилизованных пешим строем отправили на Скопин, а оттуда поездом в Рязск, на формирование. О многом передумал Павел в этот день: об оставленном доме, жене, детишках, о том, как они будут обходиться без него, но не знал и не мог предположить, что именно в этот день семья его осталась без коровы.

Два дня уж Зорьку не гоняли в стадо — напоролась где-то на борону, а привязывали в низине у ручья. И в это утро, когда вернулась от расставанных вётел, Надёжка отвела корову в низину. Хотела совсем не выгонять из хлева, да Григорий настоял: «Чисть потом за ней!..» Спорить было бесполезно. Привязала Зорьку, ушла на работу, а после обеда прибежал запыхавшийся Сашка.

— Баба послала сказать, что Зорьку угнали, — доложил он, едва переводя дыхание, найдя мать у риги, где она с бригадой обмолачивала рожь, и встал в сторонке, будто за эту новость могли отшлёпать.

— Когда угнали, кто, зачем? — с расспросами подступила Надёжка к сыну, но тот лишь пожимал худенькими плечами.

— Сходи, узнай, — посоветовали бабы, и она, схватив Сашку за руку, — бегом домой.

В избу ввалились, а Акуля вой подняла, слова выговорить не может.

— Мамань, скажи толком-то, куда Зорька подевалась? Чего молчишь-то, говори!

— Пастухи угнали с гуртом! — подсказал усевшийся у порога осмелевший Сашка.

Акуля запричитала:

— Разве я могла подумать такое, мне и ни к чему. Гурты-то каждый день гонят, от германцев спасают, кто же мог знать?!

— Ты-то, мамань, где была?

— В доме, где же ещё — с Бориской вожусь, с утра он животом мается. А как обед-то подошёл — пошла доить, глянула — нет Зорьки, и сердце оборвалось.

— Вот что... — Надёжка поднялась с печной приступки. — Я побегу сейчас за дедом, а ты, Санёк, посмотри, ради бога, побегай по селу, может, найдёшь Зорьку. У ручья посмотри, на пустых усадьбах — она любит лопухи молотить.

Едва Надёжка выскочила из избы и побежала берегом пруда к стаду, как взяло сомнение: «А

что если самой попробовать догнать? Глядишь, недалёко пока угнали. Когда это свёкор растрясётся?» Она бы так и сделала: дорога на Хрущёво одна — догнала бы, да вспомнила, что на работе никому из начальства ничего не сказала, не вернёшься молотить, а потом хлопай глазами, ещё под суд отдадут.

Добежав до стада, Григория она не увидела, только один Васёк, согнувшись, на бугорке сидит.

— А где же твой старшой-то? — издали спросила Надёжка.

— В лесу орехи рвёт, — недовольно отозвался подпасок и, сунув два пальца в рот, пронзительно свистнул. — Погоди, тётка Надя, сейчас выйдет... Слышишь, по кустам шарахается!

— А ты чего забыла здесь? — вскоре удивлённо спросил Григорий у снохи, выйдя из леса. — Или с Павлом что?

— Корова пропала... Маманька говорит — с каким-то гуртом угнали!

От неожиданности Григорий опустился на луг и, что-то обдумывая, смотрел то на Надёжку, то на подпаска.

— А что же вы, курвы, не отбили-то её? Головы вам надо за это поотрывать, — начал ругаться Григорий. — Пошли домой! — прикрикнул он на сноху. — Чего рот-то разинула! Васька, — шумнул подпаску, — достережёшь один, только допоздна скотину не держи — волки откуда-то набегли, по лесам рыщут!

Надёжка пошла следом за свёком, боясь хоть что-нибудь сказать, и только когда дошли до пруда, подала голос:

— Папань, мне на работу надо, рожь молотить...

Григорий зыркнул на сноху, плюнул:

— Бегите, разбегайтесь, а мы с бабкой голову за вас ломайте!

Григорий матерился до самого дома, войдя в избу, отшвырнул кинувшуюся в ноги Акулю и начал собираться.

— Приготовь поесть в дорогу! — приказал жене. — И хватит сопливиться, хватит!

— Деда, — прильнул к нему Сашка, — возьми с собой — вдвоём мы Зорьку мигом отыщем...

— Забери его! — крикнул Григорий Акуле, и от его голоса проснулся за перегородкой Бориска, стал слезать с кровати, да упал — пере-

ливчато закатился, а Акуля не знала, за что взяться, что делать вперёд.

Наконец Григорий собрался, ступил на крыльцо, а куда идти, где искать — неведомо. Выбрался за Князево и пошёл большаком вдоль телеграфных столбов, приглядываясь к выбитой, пыльной траве. В попутных селениях спрашивал, не прогоняли ли гурт, и когда ему отвечали, что да, было такое дело, — он веселел, шагал шибче, но, дойдя до Сохи, понял, что отстаёт от гурта. «Его ведь у нас прогнали сразу после обеда, а сейчас уж почти вечер!» — то ли насмешливо, то ли жалеючи сказал Григорию сидевший у магазина сторож. Но его интонация не волновала Григория. «Главное, — думал он, — что со следа не сбиваюсь. А дальше железной дороги гурту пылить некуда. В Хрущёве и нагоню. Всего-то три часа хорошей ходьбы осталось!»

До станции Хрущёво Григорий доплёлся в темноте. От жителей узнал, что гурт действительно прогоняли, но погнали куда-то дальше, к Столпцам. Григорий решил сразу же идти в это село, но, выйдя за станцию и дойдя до первого поля с копнами, ткнулся в мягкую солому, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Достал из запятого мешка съестной припас, но только выпил бутылку утешного — от Зорьки! — молока, надел фуфайку и провалился в сон. Чувствуя, что засыпает, успокаивал себя тем, что до рассвета, поспав немного, обязательно будет в Столпцах, перед Проней, прибежавшей к этому сельцу от Пронска и сделавшей по пути многокилометровый широкий крюк... Григорий понимал, что гуртоправщики не станут перегонять коров через реку на ночь глядя, дождутся утра, вот тогда-то он и догонит гурт, отобьёт Зорьку. Он и засыпал-то, ощущая на губах вкус её молока: густого и сладковатого, как после отёла, и чуть, как казалось ему с усталости, — хмельного.

Как же он любил свою Зорьку, как лелеял, оберегая и в стаде, и на своём дворе. Она с самого своего появления напоминала прежнюю Зорьку, которую он когда-то не пощадил и, чтобы не гнать в общий колхозный гурт, самолично зарезал, оглушив колунуном, в страшный и непонятный март тридцатого года, когда власти начали создавать колхозы: колхозы создавали, а жизнь и души людям ломали. Хотя в ту пору начался Великий пост, но мясного они тогда

всей семьёй поели вволю. Питались солониной до самого сенокоса, хотя косить-то тем летом стало не для кого, не считая чудом уцелевшей овцы, окотившей в половодье двух ягнят.

Проснулся Григорий на рассвете. Он сильно замёрз, и обильная роса отпугивала, напоминала о тёплой копне. Через полчаса ходьбы, правда, чуток разогрелся, а когда пожевал хлеба с огурцом, то и вовсе повеселел. А тут ещё начал представлять, как нагонит гурт, увидит Зорьку. «Всю ей холку выдеру и дубинку обломаю, мать её в кривую ногу!» — мечтал Григорий, хотя, конечно, никогда этого не сделал бы. Мечты, мечты... Как иногда люди любят мечтать, что-то выдумывать и жить этой выдумкой! Так это им нравиться, что они, будь по-другому, наверное, и людьми-то себя не считали... К переправе Григорий опоздал. Он увидел на противоположном берегу Прони, намного полноводней в этом месте, чем в Пронске, большое стадо коров незнакомой породы, кофейно-молочная масть которых почти сливалась с пылью, поднятой ими на том берегу; похоже, после переправы их пересчитывали. Григорий нерешительно присел на берегу, не зная, что делать. Неподалеку от крайних изб села он увидел несколько лодок, в другой бы раз, не задумываясь, запросто взял одну, чтобы переправиться, мог это сделать и сейчас, но не решился. «Спасибо, хоть в этом повезло!» — подумал он, заметив шедшего к реке парнишку с вершей за спиной.

— Эй! — окликнул он его. — Поди, что спросу-то!

Мальчуган недоверчиво посмотрел на незнакомца и насторожённо замер в сторонке.

— Слышь, чего хотел спросить-то... Подскажи, у кого бы вёсла можно взять? На тот берег мне во как нужно!

— Эта вот лодка... Хозяин её на фронте, — начал шептать парнишка. — Рядом... Тоже на фронте... Дальше — деда Матвея, только он хворый лежит.

— Во-во, — оживился Григорий, — у него и спроси вёсла! Мне хотя бы туда перебраться... Корова с чужим гуртом увязалась, такое дело... Помоги, сынок. Христом Богом прошу!

— Ладно, сейчас сбегаяю. — Парнишка положил вершу на берег и умчался в село.

Минут через десять вернулся с вёслами, но,

прежде чем сесть в лодку, поинтересовался:

— У тебя документ есть какой? Может, ты сбежал откуда!

— Или по мне не видно, что отбегался я — еле ноги волочу... А ты — документ!

Парнишка молча бросил в лодку вершу, подождал, пока Григорий, вздрагивая и пугливо хватаясь за борт, уселся на банке, и после этого заскрипел уключинами.

— Побыстрее ищи! — командирски напомнил парнишка, когда причалили к берегу. — Ждать мне некогда — мамка ругаться будет!

— Чего ж там долго-то прохлаждаться? Меня ведь тоже ждут не дождутся. Сам знаешь, как без коровы-то жить!

Григорий выбрался из лодки на песок, поднялся по уступистому берегу наверх и торопливо зашагал к всаднику, заворачивавшему гурт и что-то кричавшему своему напарнику.

— Эй, дружок, землячок, — приговаривая, бегал за всадником Григорий. — Остановись, кой-чего спросить надо, дело есть!

Наконец тот осадил коня, спросил хмуро:

— Чего хотел, старик?

— Корову свою ищу... Вчерась к вашему гурту прибилась... Такая красноватенькая, приметная среди ваших будет. Не видал?

— А хоть и видал, думаешь, отдал бы? Ты такой не один. Третьего дня какой-то кацап полдня житься не давал, пока вот этой штукой не пуганул его, — показал гуртоправ на кобуру нагана, — а теперь вот ты... Если каждому сейчас верить, то, пока до места догоню, полстада недосчитаюсь!

— Ну зачем ты так, — поморщился Григорий, — я же у тебя по-человечески спрашиваю, по-христиански!

— А я тебе на каком языке отвечаю? Своих восемь голов недосчитали — будь она проклята, ваша речка... Не хватало мне ещё заботиться о каких-то прибудных.

— Не терзай душу-то — скажи: была или не была?

— Евсе-ей! — крикнул всадник своему напарнику. — Трогай, трогай! Пошли-и!

— Мил человек... — не отставал Григорий.

— Ох ты, болячка! Кажись, была одна рыжеватая, хромая...

— Во, во — точно! — обрадовался Григорий. — Где она теперь?

— Известно где! Там, где и восемь наших осталось... Дня через три всплывут! — всадник отпустил поводья — жеребец вытянул шею, всхрапнул и ударил подковами по густой стерне.

— Утонула Зорька, ах, утонула, — шептал, приговаривая, Григорий, не в силах сдвинуться с места. Ему вспомнилось, что идёт война, что дальше будет ещё хуже, и голода, как в империалистическую и гражданскую, наверняка не миновать... С коровой-то ещё можно выжить, а как без неё? Как?

Он долго бы стоял посреди поля, глядя на удаляющийся гурт, но вспомнил о ждавшем мальчишке и медленно побрёл к реке. Когда дошёл до Прони, ему расхотелось возвращаться в Князево. Что скажет дома? Чем обрадует? Теперь он понимал, что из-за него пропала Зорька, это он заставил сноху выгнать её из хлева, чтобы потом не убирать за ней. «Теперь, старый пенёк, и рад бы убрать, руками бы всё вычистил, — ругал он себя, — да уж поздно, что свершилось, то уж не исправишь...»

— Дядя, тебя долго ждать-то? — присвистнув, окликнул его от лодки парнишка. — А то ведь, если тебе не к спеху, могу и уплыть. Тогда переправляйся как знаешь.

— Иду, иду, — отозвался Григорий.

— Нашёл корову-то? — спросил парнишка, когда Григорий уселся в лодке.

— Нету... Гуртовщик сказывал — утонула. Многих после переправы недосчитали. — Григорий отвернулся, глотая слёзы, зачерпнул пригоршню воды, умылся, вздохнул.

Парнишка грёб молча и более ни о чём не спрашивал, даже не ответил на «спасибо» Григория, когда причалили к берегу, — только кивнул и долго смотрел вслед удалявшемуся старику.

До дома Григорий добрался к вечеру следующего дня. Он мог и побыстрее дойти, но не хотел торопиться, и два дня пробирался вдали от большака, через поля и небольшие, по-осеннему звонкие леса. Он словно отдалял себя от предстоящих слёз и причитаний, и если не общественное стадо, то и вовсе бы не спешил, может быть, попросился к кому-нибудь на постой и прожил среди чужих людей столько, сколько хотелось бы.

И вот он опустился на родном крыльце, не

решаясь сразу войти в избу. Долго крутил сигарку, не торопясь раскуривал, прислушиваясь к доносившейся из-за дверей жизни. Плакал Бориска, и Надёжка то принималась ругать его, то начинала успокаивать... А вот и Акуля что-то сказала Сашке, видно, не особенно приятное, и тот выскочил из избы, прошлёпав босыми ногами в сенцах по земляному полу, остановился, замерев у двери.

— Деда, деда вернулся! — закричал он что было сил, и сразу из избы выскочила сноха с Бориской на руках, за ней Акуля — остановились перед Григорием.

— Чего уставились? — не выдержал он вопрошающих взглядов. — Или не видали?

— Зорьку привёл? — после долгой паузы, которую даже Бориска не решился нарушить, спросила Акуля.

— Нету Зорьки... — вместе с дымом выдохнул Григорий. — В Проне утонула, когда в Столпцах гурт на тот берег переправляли... Весь день изгоном за ней бежал. Только зря ноги избил.

Закатившись беззвучным плачем, Акуля, хватаясь за стенку, ушла в избу, Надёжка, схватив Сашку за руку, пошла следом, удивлённо и непонятно взглянув на свёкра, будто на крыльце сидел бродяга. Ушли. Григорий продолжал курить, не удивляясь такой встрече, потому что иной и не ждал. В этот момент на него навалилось безразличие, и он поддался ему с такой радостью, словно оно могло сберечь в эту несладкую пору для другой жизни, которая начиналась с этого дня. Он и Веру встретил равнодушно, хотя и заметил, что она несёт им махотку молока.

— Здравствуйте, Григорий Тимофеевич, — сухо сказала Вера, проходя мимо Григория, — не нашлась корова-то?

Тот, отвечая на приветствие, поднял картуз и мотнул понурой головой, подумал: «Вот как переменялось-то все... Сразу по отцу стала величать!»

Вера прошла в избу, и через неплотно прикрытую дверь Григорий слышал:

— Вы что же это, его в дом не пускаете, что ли? — спросила она то ли у Акули, то ли у сестры.

— Кому он нужен! Сам не идёт, весь обкурился, — ответила Акуля раздражённо.

А Вера, обратившись будто не к ней, пристыдила:

— Так нехорошо, перед Богом стыдно... Он три дня, может, во рту крошки не держал, а вы накормить его не догадаетесь.

От Вериных слов в груди Григория что-то задрожало, стало нечем дышать, и он вспомнил Ивана, Павла, свою жизнь, показавшуюся сейчас долгой-долгой.

— Оте-ец, — услышал он немного погодя голос Акули, — иди есть, что ли...

Если бы не Верины слова, не её присутствие, он ни за что бы не отозвался и не подошёл к столу, а теперь торопливо помыл в сенях руки и, войдя в избу, благодарно взглянул на Веру и чуть заметно поклонился.

— Ну, я пойду, — сказала она вопросительно, словно не решалась оставить Григория, когда он сел за стол и Акуля поставила перед ним миску с похлёбкой, — вы уж завтра пришлите Сашку за молоком, корова у нас пока хорошо доится — на всех хватит.

Она вышла на крыльцо, перекрестила избу, прошептала:

— Храни вас Господь, отведи беду великую.

ОБОЗЫ РАННЕЙ ЗИМЫ

С двадцатого октября 1941 года в Москве и прилегающих районах ввели осадное положение. В Пронске появились военные патрули, а на выездах из города поставили контрольно-пропускные пункты. Появление в районе военных напоминало о приближающемся фронте, и всё чаще появлялись вражеские самолёты-разведчики. С контрольных пунктов по ним стреляли из винтовок, но когда пара самолётов расстреляла дощатый домишко и при этом погиб красноармеец, то стрелять по ним перестали, и они, как коршуны, безнаказанно кружили в небе, высматривая что-то для себя важное, а иногда, видно потехи ради, пускали очередь-другую вдоль сельских порядков. Не обошли и Князево.

Григорий в эти дни ходил по дворам — собирал заработанное за сезон; прежде сами несли, а теперь чуть ли не выпрашивал. Давали не сполна, а кое-кто и половины положенного не

наскребал. С мужиков бы Григорий всё содрал, а с баб... Иная так расслюнявится, что впору не с неё брать, а ей отдать последнее, только бы замолчала. А то как начнёт причитать — всех святых соберёт, хоть сам на порог с ней садись и вой по-волчьи. Дошло до того, что однажды с утра он отправился в правление, чтобы принародно отругать собравшихся на наряд баб, может, тогда им станет друг перед дружкой стыдно... Ругаться-то ругался, да только пользы от того не вышло: заклевали они, еле-еле отбилась — хотели снега в штаны насыпать.

«Ну, ничего — весной вы ещё попросите, — мстительно думал Григорий, возвращаясь домой, — вы ещё поклонитесь мне... Только и не подумайте за кнут братья. Хватит, давно отстерёг своё. Пускай теперь Мать-Грунька будет у вас за старшего, он вам стадо-то быстро уполовинит!»

Старик прошёл Тюлямин мост, уже подходил к дому, когда от размышлений отвлек незнакомый, быстро приближавшийся металлический гул. Не успел Григорий что-либо сообразить, как увидел два летящих со стороны Пронска самолёта. Один из них был так низко, что, казалось, вот-вот посрубает верхушки вётел. Он хотел помахать ему, но вдруг увидел на крыльях чёрные кресты, и в тот же миг самолёт клюнул острым носом, словно хотел впиться в землю, немного занёс хвост и полетел на него. Григорий от неожиданности упал на снег, инстинктивно накрыл голову руками и услышал, как рядом пудовым горохом простучала пулемётная очередь... И сразу же Григорий оглох от моторного рёва, накрывшего его и так придавившего к снегу, что он животом почувствовал острый ком мёрзлой земли. Когда гул отдалился, Григорий, приподняв голову, увидел, что самолёт накренился, стал поперёк неба, так, что был виден шлем лётчика... Догадавшись, что тот разворачивает свою машину, чтобы добить, Григорий вскочил на ноги, пригнувшись, метнулся в заросли татарника, камышом желтевшие вдоль ручья, и забился в них, косясь на самолёт. А он — то ли потерял старика из виду, то ли и не думал гнаться — над селом развернулся и пустился догонять напарника.

Когда гул моторов затих, Григорий, как зверь с лёжки, осторожно выбрался из татарника и, пугливо вскидывая задом, затрусил домой. Молчком ввалившись в избу, он прошёл в кух-

ню и долго выбирал из щеки и лба впившиеся колючки, морщась от боли и раздражённо сплёвывая на пол. С необычной тревогой следившая за ним Акуля не знала, что сказать и что делать в эти минуты. Она слышала из избы стрельбу и, глядя на необычное поведение мужа, не могла это всё объяснить... Пока Григорий вертелся перед вмазанным в печку зеркалом, она боялась произнести лишнее слово, а когда он коротко сказал: «Собирайся, старая!» — непонимающе посмотрела:

— Что надумал-то, отец?

— А ты глупая, что ли? Или не слышала, как германец сейчас хотел село разбомбить?! Коль уж он такой наглый стал, то дальше хуже будет — в живых нам здесь не остаться. Надо в лес уходить. Пойдём к леснику Максиму Дронину, упадём ему в ноги, может, пустит, должен пустить, он ведь теперь один в сторожке живёт. Баба-то его, если помнишь, весной померла, так что, думаю, потеснится — троюродный брат всё-таки!

— Да ты что говоришь-то, думаешь хоть?! — изумилась Акуля. — На кого же ребят оставим, Надёжку... Ты прежде думай, чем говорить-то такое!..

— Все уйдём, может, не сразу, а уйдём... Так что собирайся, а я лыжи пока в сарае посмотрю.

Поддавшись воинственному настроению, Григорий вышел из избы, прошёл в сарай и, пока высматривал под слегами лыжи, опять услышал металлический гул моторов. Он выглянул, чтобы оглядеться, но, даже не увидев самолётов, по звуку догадался, что они сейчас опять полоснут по селу свинцом... Григорий метнулся к погребу, но разбухший притвор не хотел открываться, пока он возился с ним, гул моторов отдалился, а скоро и вовсе пропал.

Возвращение самолётов только усилило в Григории решимость уйти в лес. Вернувшись в избу, он спросил у Акули:

— Надумала или нет? Я и санки приготовил — ребят повезём!

Акуля замылась, ушла в кухню и оттуда сказала:

— Ты как хочешь, а я никуда не пойду — будь что будет.

— Тогда собери сумку! Погибать я тут не собираюсь.

Молча наложив в пастушью сумку пирогов с капустой, Акуля молча же подала её мужу и тяжело вздохнула, а Григорий вышел, даже не попрощавшись, только на пороге моргнул притихшему Сашке. У крыльца Григорий надел лыжи, кое-как перешёл большак, но, выйдя в лошину, снял их, привязал бечёвкой к поясу; по малому снегу идти пешком оказалось спорей. Болтавшиеся сзади лыжи быстро надоели, и, дойдя до леса, Григорий спрятал их, воткнув в густой куст орешника. Эта непродуманность огляла самолюбие Григория, он уж ругал себя: «Чего же я, охотник-воин, раньше-то не подумал о том, что снег-то лишь землю прикрывает?!» Но собственный упрёк скоро забылся, Григорий шагал ходко, он уже представлял, как будет жить на тихом лесном кордоне, вдали от этих выстрелов, самолётов, вдали от всего, а там, глядишь, и войне конец будет. «Вот схожу на разведку, а потом и Акулю привезу, и ребятишек, да и Надёжку надо будет забрать: хватит ей в колхозе хрип гнуть! Лоб-то весь конопущками усеян... Опять, должно быть, ребёнка дожидается... Надо будет и картошку сразу свезти, пока морозы не жгут, и муку. Ничего — проживём!» — мечтал и успокаивал себя Григорий.

До сторожки он добрался часа за полтора, но на двери висел замок. Это, правда, Григория не смутило, и он решил подождать братца. Пока дожидался, умял пироги, и захотелось пить. Спустился к колодцу в низинке, выпил две пригоршни ломящей зубы воды и вернулся к сторожке, зашёл в сенной сарай и, закопавшись в сено, задремал.

Сколько проспал, Григорий не знал, только догадался, что недолго, потому что не успел замёрзнуть, но, выйдя из сарая, почувствовал, как от холода по телу пошла крупная дрожь, и, чтобы унять её, начал прыгать. В животе сразу захлопало, и он затих и присел на дровосеке перед крыльцом, прислушиваясь к себе. Подумалось: «Надо было под вечер приходиться, когда он домой возвращается, а сейчас попробуй найди его...»

Как ни хотелось Григорию уходить ни с чем, но пришлось, когда не осталось сил терпеть озноб. Он пошёл по своим же следам, стараясь идти как можно быстрее, чтобы согреться и унять знобкую дрожь. Согрелся, только добравшись до Афанасовой лошины. Выбрался из

лошины на бугор и, устроившись на низком суку корявой осины, закурил. Когда сигарка стала обжигать пальцы, увидел вдалеке запряжённую лошадь, вихлявшую санями вдоль извилистой опушки. Чтобы не быть замеченным, Григорий сполз с сука, пригнулся и на коленях забрался в заросли припорошённого снегом терновника. А когда выглянул из него и узнал в санях соседа Тимофея Фокина, присел ещё ниже. Когда же сани поравнялись с терновником, на Григория вдруг накатило необузданное озорство, и он решил припугнуть соседа.

— Попался! Хватай его, ребята, окружай! — изменив голос, закричал Григорий и, чтобы наделать побольше шуму, завизжал, заулюлюкал, словно загонщик, поднимая зверя с днёвки, по-воровски пронзительно свистнул вдогонку понёсшей лошади, взбрыкивавшей под ударами кнута.

Встреча развеселила Григория. Он вышел из терновника и, посмеиваясь, пристально посмотрел вслед удалявшимся саням. «Подожди, я тебе ещё не такое устрою!» — мстительно подумал он, и будто в ответ на его угрозу из саней хрустнул раскатистый выстрел; пуля стрекнула рядом, осыпав с терновника молодой снег... Боясь, что Фокин стрельнёт ещё раз, Григорий повалился на бок. «Вот он, оказывается, с чем в лес ездит, — мелькнуло в голове, — обрезом себя охраняет! Как он меня? Чуть пулю не всадил! Ну, гадёныш, погоди, пушу тебе красного петуха среди зимы, дорого заплатишь за эту пальбу!»

Возвращался Григорий невеселым: уж жалел, что связался с Фокиным, вздумав его пугать, — ехал бы тот своей дорогой и ехал, а теперь от него чего хочешь жди — пакости строить он умеет. Ещё сильнее испортилось настроение, когда Григорий вошёл в избу и Сашка, обрадованно повиснув у него на шее, доложил:

— Деда, а тебя дядя Фокин спрашивал!

— Топорище принёс, — добавила Акуля, — говорит, что ты заказывал.

— Ладно, ладно — разберусь, — отмахнулся Григорий.

Больше никто ни о чём расспрашивать не стал, и, похлебав пшённого кулеша, он залез на печь, боясь расспросов. Григорий сразу догадался, что Фокин приходил с проверкой... Должно быть,

всё-таки узнал в лесу, а стрельнул от собственного испуга. «Ладно, сосед, я пока тебе ничего не скажу. Потерплю до поры до времени!..» Разморившись после проведённого на холоде дня, Григорий вздремнул, что-то даже увидел во сне, но когда вернулась с работы сноха и стала греметь ведрами, проснулся, и уж после, когда все улеглись спать, сон не шёл к нему. Вместо него мысли, мысли... Совсем одолели. «Что-то ты, брат, не то делаешь, — будто кто нашёптывал ему, — суетишься чего-то, мечешься. Хочешь сделать одно, а получается другое. Тебе не тридцать. В тридцать-то лет ты ох какой добышкой был, всё горело в руках, а сейчас, за что ни возьмёшься, — всё валится... Тебе одуматься бы, а ты начинаешь глупости делать. Вот зачем ныне в лес ходил? Чего добился? А Фокина зачем пугал? А? Молчишь. Вот так всегда: сделаешь, а потом начинаешь перед совестью ловчить и сам же страдаешь. Разве не правду говорю?!» — «Кто ты такой есть-то, чтобы указывать? Кто, я спрашиваю? — свирепел Григорий, понимая, что делать этого не следует, а надо, как не раз слышал от старых людей, повернуться на другой бок и сотворить крестное знамение. Понимать-то понимал, но не получалось. — Может, сатана, это Фокин в твою шкуру влез? Может, это он в моём доме всякую муру нашёптывает?.. Сейчас вымету вас отсюда, на морозе-то не так заговорите!» Не одеваясь, Григорий слез с печи, раскрыл дверь в сенцы, схватил какую-то тряпку и начал махать ею, зло приговаривая:

— Кыш, поганые, кыш! Гадость тут всякая развелась до невозможности... Ишь, весь вечер нашёптывают.

В темноте Григорий опрокинул лавку, и от её грохота проснулась вся семья.

— Сбесился, что ли? — набросилась Акуля на мужа. — Ты что же это холода-то в избу напустил? В могилу свести нас хочешь, этого доби-ваешься? — она захлопнула дверь, зажгла в кухне лампу и, схватив веник, начала хлестать Григория. Сидевший у Надёжки на руках и ничего не понимавший спросонья Сашка испуганно завизжал, вцепился в мать, но, что-то сообразив, соскочил с рук и подбежал к Акуле, ухватил за подол:

— Так его, так, баба... А то ишь какой, моего домовушечку надумал выгонять!

Дед замахнулся на внука, хотел его толкнуть, но подбежавшая Надёжка оттащила Сашку от возившихся деда и бабки, прижала к себе.

— У, курвы, — простонал Григорий и, выскочив из избы, выбежал вдоль порядка.

— Куда же ты босый?! — крикнула вслед Акуля, но Григорий не слышал её.

Он бежал, не чувствуя снега, ему казалось, что ещё немного — и догонит Фокина, даст подножку и за всё сквитается... Если бы не от куда-то набежавшие свирепые псы, хватавшие за пятки, он бы ещё бежал долго, но, спасаясь от собак, обогнув полпорядка, неожиданно очутился у своей избы... Он не помнил, кто завёл его в дом, кто напоил чаем и уложил спать. На этот раз он уснул сразу, даже не уснул, а провалился в бездну ангельского сна, время от времени тихо постанывая.

Проснулся вместе с внуками: те затеяли возню, а он не спешил слезать с печи, стыдливо припомнив, как ночью носился по селу. Поэтому, дождавшись, когда сноха отправилась на работу, а жена пошла за водой, слез с печи, оделся, заглянул во двор и, присев к столу, стал дожидаться, когда вернётся Акуля и накормит. А она занесла в избу одно ведро, а за вторым послала Григория и чуть заметно улыбнулась:

— Или уж ходить не можешь? Поди, ноги-то обморозил?

Григорий тяжело поднялся с лавки, сходил на крыльцо за ведром и нехотя ответил:

— Ничего с ними не случилось, только пальцы чуть припухли.

Ни слова больше не сказав, он позавтракал и опять забрался на печь. Сашка было сунулся к нему, но Григорий охладил:

— Ступай, ступай, помоги бабушке...

Сашка недовольно шмыгнул носом, спустился с приступки на пол и больше к деду не лез и младшего Бориску не пускал... А на Григория, как ночью, опустилось полузабытьё, опять какая-то чепуха закралась в голову. Лежал почти до обеда. Разморился на разогревшейся печке — хотел уж сам слезать, да пришедшая с улицы Акуля подняла слезливыми причитаниями.

— Сходи, посмотри, что творится-то на белом свете, — говорила она, утираясь кончиком

платка, — за что же наказание такое Господь людям послал?

— Чего ты всё гудишь-то, гуда, — проворчал Григорий.

— Раненых везут... — Акуля прислонилась к спинке кровати, словно плохо держалась на ногах. — Целый обоз... Сходил бы, может, нашего Павла увидишь...

Весть ошарашила Григория. Все мысли, переживания сразу забылись, показались ничтожными по сравнению со словами Акули. Григорий торопливо надел валенки, накинул кожух и шапку снял с гвоздя над дверью... Ещё в сенях услышал скрип полозьев, фырканье лошадей и окрики возниц, а на крыльце и дух захватило: вдоль всего порядка двигалась вереница саней, а в них раненые бойцы рядами... Лица у всех серые, едва видимые из-под распущенных ушанок и поднятых воротников шинелей. Иные были в кургуzych армейских телогрейках — спасаясь от холода, накрыли голову руками. У кого шея забинтована, у кого нога, у кого вместо руки — культя в окровавленных бинтах. От дальней дороги, от стужи у них не было сил смотреть по сторонам; казалось, что все они много раз ездили этой дорогой и привыкли к ней. Они и на людей, молча провожавших взглядами, не обращали внимания, словно чувствовали перед ними вину... Дорога мимо дома шла под уклон, и Григорий не успевал рассматривать мелькавшие лица. Он сошёл с крыльца и засеменял вдоль порядка, решив, что за мостом, на подъёме, лучше разглядит их. Вдруг и Павел действительно здесь! Ведь некоторые из раненых и глаз не открывают — без памяти должно быть. Григорий приглядывался, выискивая чернявых, но разве что разберёшь в такой каше!

— Откуда, милоч, обоз-то гоните? — спросил Григорий у красноармейца, сидевшего в передке саней за вожжами.

— Издалека... Из-под Тулы, отец... — пробормотал тот задеревенелыми губами.

— Слышь, — почти крикнул Григорий вслед удалявшимся саням, — у меня сын под Брянском воюет... Нет ли кого с тех краев?

Возница то ли не расслышал Григория, то ли ему надоело отвечать на похожие вопросы, только молча стеганул кнутом запаренную ло-

шадь, бившую струями пара из ноздрей в накатанную дорогу. Когда с Григорием поравнялись следующие сани, он ещё спросил о Павле, а потом и ещё и увидел, как кто-то из отрубовских ребятишек выбежал к самой дороге и, чикиля рядом с санями, совал красноармейцам — кому в карман, а кому в протянутую руку — варёную картошку и вновь бежал к ведёрку, пенёчком черневшему в снегу неподалёку. «Вот выдумщик, — удивился Григорий. — Чей же это? Сразу и не узнаешь — шапку-то будто нарочно на глаза натянул!» И вдруг будто кто-то толкнул Григория: «А я-то что же стою, мать меня в кривую ногу!» Он торопливо вернулся домой, тоже решив покормить раненых. «Ведь Акуля сегодня хлебы пекла, — вспомнил Григорий, — это посытней пустой картошки-то будет!» Но едва он дошёл до моста, как мимо проскрипели последние сани, и Григорию сделалось обидно, будто кто пошутил над ним, не разрешив исполнить задуманное... Вернувшись в избу, он, не раздеваясь, сел на лавку, не зная, что делать, хотя и делать-то ничего не хотелось.

— Павла-то, случаем, не заметил? — спросила Акуля, а стоявший рядом с ней Сашка, услышав об отце, насторожился.

— Нету... Не из тех краёв везут. Говорят, из-под Тулы, а наш-то дальше воюет.

Акуля хотела что-то ещё спросить, но лишь вздохнула. Вздохнул и Григорий.

В конце концов, он решил, что надо жить как живётся. Если уж до председателей очередь дошла, то несладко на фронте. Может, и Москву сдали, а молчат-помалкивают. И словно в подтверждение его дум, под вечер через Князево прошёл обоз с ранеными, а утром ещё один. У Григория не было сил смотреть на полуобмороженных, беспомощных людей в мятых шинелях. Он уж не надеялся встретить сына, потому что вчера узнал от них, что Брянск, откуда пришло последнее письмо от Павла, давно под немцем. Он это и раньше слышал по радио, но в нём жило сомнение: а вдруг что напутали там! Сказать-то сказали, а как проверишь! От бойцов верней. Так думал Григорий и гадал, где теперь сын, живой ли, может, ранен и вот так же где-нибудь в санях погибает? Поди угадай!

Вернувшись с улицы, он достал из печи чугунок с кипятком, зачерпнул кружку и, грея о латунь руки, обжигаясь, понемногу отхлебывал, чужаком притулившись на краешке лавки. Сашка и Бориска играли в спальне, Акуля тёрла картошку на крахмал, и от этой гнетущей тишины, в которой даже ребятишки переговаривались воплолоса, Григорию сделалось не по себе.

— Санёк, залезь-ка на лавку, заведи радио! Может, чего скажут — праздник ведь сегодня... Октябрьская! — попросил он внука и подсел поближе к громкоговорителю, чёрным лопухом прилепившемуся к стене.

Хмуро косясь на деда, Сашка неохотно вышел из-за перегородки, забрался на лавку и крутанул винтик.

— Тихо, мать вашу! — крикнул Григорий на всю избу и замер на лавке, не сразу отгадав в тягучем говоре голос Сталина.

Григорий сперва задохнулся от услышанного, но чем внимательнее вслушивался в голос вождя, погрозив пальцем внукам, когда те пытались затеять возню, тем большее овладевало им нетерпение, словно он задумал что-то неотложное... Сталин говорил долго, иногда непонятно, называл много цифр, но всё равно от его слов по душе растекалась радость: если выступает, если передают по радио — значит, жива Москва! А она будет жить — с ней и Россия не пропадёт! И от этой счастливой мысли Григорий сразу придумал окончательный план, по которому выходило, что выступление вождя — самый настоящий повод, чтобы умаслить Акулю и выпросить стаканчик.

«...Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! — неслоь тем временем из репродуктора. — На вас смотрит весь мир как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощённые народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведёте, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия По-

жарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!

За полный разгром немецких захватчиков!

Смерть фашистским оккупантам!

Да здравствует наша славная Родина, её свобода, её независимость!

Под знаменем Ленина — вперёд к победе!»

Всё-таки дослушав до конца, Григорий напряжённо ждал, что Сталин скажет ещё, но после небольшой паузы прозвучал голос диктора: «Мы передавали речь товарища Сталина во время парада на Красной площади...»

Последние слова не сразу дошли до Григория, а когда он сообразил, что в Москве идёт парад войск, то не смог усидеть на месте.

— Сашка, Бориска, Акуля, слышали, чего по радио-то объявили? Парад был на Красной, парад! А то брешут, будто Москва под немцем! Куда ему, он только ловкий за стариками на самолётах гоняться, а Москва-то — она века стоит! Попробуй тронь её! — Григорий радостно закружился по избе, подхватил Борисуку и, не опуская на пол, вспомнив о том, что задумал в самом начале речи Сталина, нетерпеливо заглянул в кухню и на полном основании, которого недоставало десять минут назад, сказал как приказал:

— Мать, по такому случаю сто пятьдесят полагается! Праздник сегодня... Парад! Доставка!

— У тебя, окаянного, была бы причина... Откуда тебе возьму?!

— Вторая бутылка осталась, когда парасука кололи, помню-помню! Гони на стол!

— И думать не моги. Мало ли ребята захворают — компресс сделать или ещё что случится... И не проси!..

Но где там: уговорил Григорий жену. Налила Акуля стакан самогонки и прослезилась:

— Ты уж за Павла выпей-то, помоги ему Господь. Где-то наш сынок сейчас бедствует?!

— Вот с этого и надо было начинать, — повеселел он, усаживаясь за стол.

Правда, усидел за ним недолго: за окном закрипел очередной обоз с ранеными, и Григорий, кинув в рот щепотку квашеной капусты, собрался на улицу. Но прежде заглянул в кухню, взял с лавки непечатый хлеб и спросил у Акули:

— Картофель-то не вынимала из печи?

— Попозже кур покормлю — всё равно не несутся, — откликнулась та, не понимая, что затеял муж.

— Сей же час достань, а то обоз пройдёт!

Когда Акуля выкатила из печи чугунок, он сам вылил из него воду, торопливо отсыпал в ведро горячих, дымящихся паром картошек и, подхватив хлеб, выскочил на улицу. Он боялся не успеть и поэтому не пошёл за мост, на взгрок, а стал ломать хлеб около дома. Опускал в вытянутые руки хлеб, картошку и не уставал притоваривать:

— Братки, дорогие, в Москве парад сегодня был! Войска шли... Видимо-невидимо, говорят, никогда столько войска на Руси не собиралось...

Близ одного раненого Григорий задержался, не зная, как дать еду: пустые рукава шинели у раненого были заправлены под ремень, а сам он стыдливо сдерживал сморщившимися веками выбежавшие слёзы... И он догадался: отколюпывая кусочки хлеба, словно птенцу, опускал в синегубый рот, чтобы не отстать, бежал за санями, запыхался и сел рядом с безруким, устроившись у него в ногах... Григорий поделил оставшийся хлеб и картошку меж бойцов, а «своего» кормил сам. Тот жевал молча, по-прежнему не открывая глаз, и только когда еда закончилась, он разлепил веки, долгим взглядом посмотрел на Григория, будто запоминал его, а тот, заметив, что он смотрит, слегка потрепал бойца по голове, подбадривая:

— Крепись, сынок! В Москве, на Красной, войска шли! Вместо вас встанут! Крепись!

Боец ничего не ответил, зажмурился, по-бабьи скукожился, и новые слёзы тихо потекли по его небритым щекам... Григорий сказал ещё что-то и больше не мог смотреть на него: почувствовал, как самого душат слёзы, и, чтобы не показать их ни этому бойцу, ни другим, стал прощаться:

— Вот на этом бугре и сойду, чтоб лошадь не рвать, а вам, сынки, дальше дорога ровная, скоро на станции будете.

В ответ кто обещал после войны найти своего «спасителя», кто приглашал в гости, а Григорий, не находя слов, махал вслед удалявшимся саням и смотрел, смотрел на безрукого. То-

му махать было нечем, и он стыдливо уткнулся в чью-то спину, через малое время вскинул голову, удивлённо посмотрел на Григория и, не зная, как выразить благодарность, кивал и кивал ему, будто молился Спасителю.

Когда обоз слился с чередой придорожных столбов, старик повернул домой, но идти почему-то не хватило сил, и он сел обочь дороги на перевёрнутое ведро и сидел, поддавшись непонятному оцепенению, до тех пор, пока его не потревожил откуда-то взявшийся вестовой. Он осадил распаренного коня серой масти, крутнулся, сдерживая его.

— Что, дед, замёрз? — крикнул вестовой, свесившись с седла и озорно сверкнув молодыми глазами.

— А ты не перегрелся? Езжай своей дорогой — тебе никто не велел останавливаться. Желанный какой! — И, осмотрев его и коня под ним, добавил: — Лучше бы о рысаке заботился! Куда подкову-то дел? Тебя бы погонять без обуви по котяхам!

Вестовой плюнул, поправил заиндевелую шапку с маленькой красной звёздочкой и дал коню шпоры. Не успел Григорий подняться — ни коня, ни вестового. «Лихой парень, — подумал он, — а вот серого-то не бережёт... Хотя по такой дороге и голову потерять немудрено, не только подкову».

КАВАЛЕРИЯ

Прошёл почти месяц, прибавивший Григорию суеты и бессонницы. Перебив днём сон, ночью он спал чутко, но, наверное, и без дневного сна мучился бы бессонницей, ибо по селу пробежал слух, что вскоре придут войска, и на него навалилась забота: как бы лучше их встретить.

Григорий не удивился, когда через день Князево заполнила конница, только обрадовался неожиданному множеству гнедых, каурых, вороных — душа обрадовалась. Никогда в жизни Григорий не видел столько коней: они стояли в пустых ригах, в полупустой колхозной конюшне, во всех дворах. У Григория разместилось семнадцать вороных, словно специально подобранных и по масти, и по стати. Вместе с ка-

валеристами Григорий устроил им ясли, решив, что овёс-то овсом, да ведь и сенца животинам хочется, тем более что коровы не было и сена не жалко. Семнадцать туго набитых кормовых кошёлков перетаскал Григорий из сарая и, пока лошади хрустели сеном, не отходил от них: выбирал из душистого разнотравья попадавшиеся будылья, обирал с лошадиных губ и ноздрей сосульки, за водой сходил несколько раз — напоил всех. Григорий будто власть имел над лошадьми, будто слово знал какое-то — так легко сошёлся с гостями.

— Отец, ты, должно быть, в конюхах всю жизнь служил? — удивился рыжебровый кривоногий кавалерист, вышедший во двор по нужде.

— Оно самое... Угадал! — усмехнулся Григорий и посоветовал: — Долго-то не расшеперивайся, а то холодает — погрешушку отморозишь — воевать нечем будет после войны!

Посмеявшись, рыжебровый нырнул в избу, а Григорий начал подметать двор, неожиданно почувствовав, что эта работа приятна для него, будто эти кони — его собственные, он выходил их, дождался, когда сосунки выросли в сильных, красивых коней и теперь им нельзя друг без друга... Некстати вспомнилось, как когда-то охотился за такими вот сильными и красивыми, был рад, когда охота удавалась, а сейчас только вздохнул: «Эх, жизнь, жизнь...»

Григорий лишь перед сумерками вернулся в избу, решив поторопить Акулю, чтобы та вовремя покормила кавалеристов перед дорогой, но те как будто и не спешили расставаться с теплом. А когда и картошка была съедена, а чуть позже, в сумерках, постояльцы по двое, по трое пошли к походным кухням, Григорий не удержался, спросил у их командира:

— Вы что же, останетесь ныне?

— А ты что, отец, и не рад?

— Да живите — не жалко, только интересней, когда знаешь, что впереди ждёт.

— Не волнуйсь: день-другой — и нас не будет.

Возвращаясь от кухни, кавалеристы прятали котелки под полушубки, укрывали их как могли, но всё равно кашу принесли холодной, и после сытной картошки никто не ел её.

— Не придумать бы нам чаепитие с душицей? — предложил Григорий, когда ходьба из

двери в дверь закончилась и кавалеристы собрались в тепло.

— А что, совсем неплохо сальце чаем размягчить, очень даже неплохо, — поддержал Григория рыжебровый и, покосившись на Надёжку, начавшую возиться с чугуном, предложил: — Тебе, хозяйка, помочь?

— Помоги... Вот накость вёдра — водицы принеси, а то сразу-то не догадались!

Рыжебровый мигом оделся, подхватил вёдра. Вернулся быстро, хотел занести воду в кухню, но насупившийся Григорий взял у него вёдра и занёс сам. Сам же и печь растапливал, чтобы в избе потеплее было, и недовольно косился на сноху: не по душе оказалось, что она разговаривала с конопатым, улыбалась ему. «Везде нос-то суёт!» — недовольно подумал о нём Григорий. Он вышел в сарай за душицей на заварку, а вернулся — рыжебровый опять около снохи вертится, говорит ей чего-то, а та аж сияет от удовольствия. «Ну, погоди, — обозлился Григорий, — доегозишься. Кнут-то сегодня об тебя обмочалю!» — и, улучив момент, сказал снохе:

— Выдь-ка в сенцы...

Надёжка непонимающе взглянула на свёкра, но послушаться не посмела, накинув на плечи шаль, вышла.

— Мне что, Павлу написать, как ты тут с кавалерией переглядываешься, или его подождать?! А может, мне самому сейчас тебе волосья-то выдрать? — услышала она голос свёкра, хотя самого его в темноте не видела, но догадывалась, как он сейчас смотрит.

— Да ничего особенного и не сказал кавалерист-то этот, — отозвалась Надёжка, — спросил только насчёт ребят: у него дома тоже Сашка с Бориской остались, только старшенький-то у него Бориска... Только и всего...

— Знаю, знаю — «только и всего»! Чтобы сегодня на печке спала!

— Папань, а ты где?

— Там же... Места хватит.

Надёжка почувствовала, как загорелись щеки от обиды, и, вернувшись в избу, не раздеваясь, она забралась на печь, отказавшись от чая. Поругавшись с Акулей, Григорий тоже вскоре залез на печь, лёг с краю, оставив побольше места снохе.

— Дочка, — заглянув в сучинку, тихо сказала Акуля Надёжке, когда собрались спать, — сторожа-то своего, как заснёт, шибани чем-нибудь, чтобы три дня до пола летел, срамник!

Григорий расслышал Акулины слова, но промолчал, подумал: «Ждите больше — засну! Вовсе спать не буду. Возьму и среди ночи всех по тревоге подниму — кости размять, попляшете у меня!»

От жары у Надёжки разболелась голова, и она не могла уснуть. Скинуть бы с себя одежду, да рядом пыхтел Григорий, и когда Надёжка начинала думать о нём, то душу сдавливала обида, а ком горечи не давал дышать. «Погоди, таракан запечный, вот Павлу напишу, как ты картошку направо и налево разбазаривал да ветчину уполовинил! — думала она. — Напишу, что и до сена добрался, — вот тогда попляшешь! Разве такую страсть прокормишь! У кавалерии этой начальство есть, пускай оно думает, чем коней кормить, а сено нам бы и самим согдилось! Пусть коровы нет, зато всегда продать можно. А он кошёлку за кошёлкой, кошёлку за кошёлкой — и слова не скажи!»

Под эти мысли Надёжка и заснула, а когда проснулась, Григорий ходил по избе, и она подумала: «Хоть пять минут поваляюсь вольготно!» Задернув занавеску, сняла кофту, шерстяные носки, легла поперёк печи. Пролежала так немного — надо было собираться на работу, — но в своё удовольствие, и сразу на душе повеселело и давешняя обида забылась. Пока собиралась, то, поглядывая на свёкра, еле сдерживала смех: таким он выглядел озабоченным и оттого ещё более смешным и неуклюжим.

Григория же заботило то, что в это утро кавалеристы не собирались никуда ехать: уж светло, а они храпят на всю ивановскую и никакой работы не знают! Когда сноха ушла на работу, Григорий вышел поить лошадей. Натаскав воды, пошёл за сеном. В сарай сунулся, а там весь угол отобран. «Вчерашняя моя работа!» — подумал Григорий, и ему вдруг расхотелось нести сено коням — ведь чужие! — но сам себя подстегнул: «Надо было раньше думать! Меня никто не неволил, а теперь уж всё к одному». Он, как и вчера, отнёс коням семнадцать кошёлков, но набил их не туго, а наложил сено внаутру, более для вида. Когда задавал коням

сено и те тянулись к нему подвижными губами и поглядывали на Григория фиолетовыми глазами, у него от их взглядов замирало сердце, на душе рождалась необъяснимая неловкость, будто они догадывались о проделке хозяина и до поры до времени не подавали виду.

Возвращаясь от коней в избу, Григорий встретился в сенях с рыжебровым, и вся душевная тяжесть, накопившаяся за последние сутки, выплеснулась в коротком предостережении:

— Если, стручок, будешь к снохе приставать — кишки на кулак намотаю, — не сказал — выдохнул Григорий, а кавалерист, сообразив, что хозяин не шутит, всё-таки нашёл силы улыбнуться:

— Слушаемся, ваша благородь!

Зайдя в избу, Григорий попил чаю, залез на печь и задёрнул занавеску, отгораживаясь от всех. Ему не хотелось говорить, не хотелось никого видеть. Так и пролежал до самого вечера. Только неожиданно услышав голос старинного дружка Понимаешь ли, раздавшийся с порога, приподнял занавеску, спросил:

— Чего, дед, шумишь?

— Со станции вот еду, — обирая с бороды соульки, сердито доложил Ксенофонт Михайлович. — Зазря проездил, драть их некому!

— Кого их-то и за что?

— Райпо, кого же ещё! За мукой послали, сказали, разнарядка пришла, а меня из Хрущёва турнули... Ничего не дали. Зато махрой на складе разжился, фунтов десять обломилось. Она, видишь ли, подмокла осенью, и на неё акт составили, мол, пропал продукт, а какой там пропал, — складские по себе растащили. А тут я объявился, на делёжку угодил... А теперь вот тебе завёз: на печке махру-то подсушишь — на ползимы хватит. Сичас принесу.

Ксенофонт вышел из избы и вскоре вернулся, держа под мышкой исподнюю рубаху с раздутыми рукавами, позеленевшими от волглрой махорки.

— Тебе какой рукав? — улыбаясь, спросил Понимаешь ли. — Правый или левый? Выбери!

— С кого рубаху-то снял? — покачивая головой, улыбнулся Григорий.

— С себя. С кого ещё снимешь в такой мороз!

Григорий нашёл на печке какую-то тряпицу, расстелил на кирпичах и высыпал на неё из рукава махорку, разровнял и спросил:

— Может, и свою заодно высушишь? Место есть.

— Мне и самому делать нечего... Теперь жди, когда ещё в Хрущёво пошлют!.. Ну, бывайте здоровы, я дальше поеду, — сказал Ксенофонт Михайлович и обратился к кавалеристам, будто только заметил их: — Вы, служивые, махрой-то не бедствуете? А то берите, не жалко.

Те нестройно стали благодарить:

— Нам и казённой хватает.

— Спасибо...

— И так все обкурились от безделья!

Понимаешь ли повернулся к выходу, но Григорий, свесившись с печи, задержал его:

— Пообедаешь у нас, чайком погреешься — успеешь, доедешь!

Ксенофонт Михайлович немного помялся, а сам рад-радёшенек горячего похлевать. Когда Акуля позвала в кухню, то он торопливо скинул одежонку, поверх пиджака нацепил ремень с кобурой: видно было, что он гордится оружием, но едва Григорий взглянул на его военную справу, Понимаешь ли досадливо хлопнул по кобуре:

— Надоела, анчутка!

Пока Ксенофонт Михайлович угощался, в избе появился посыльный. Он что-то сказал старшему кавалеристов и быстро ушёл. После этого постояльцы собрались на кормёжку, а когда вернулись, то в двух котелках принесли водку. Дорогой они, видно, обо всём договорились, и старший их, подойдя к старикам, спросил:

— Желаете?

— Что там? — кивнул Григорий на закрытый котелок, а сержант поднёс котелок к нему поближе и предложил:

— Нюхни!

Григорий принюхался и взглянул на раскрасневшегося Понимаешь ли, приложил палец к губам, глазами указал на спальню, где Акуля сучила пряжу, и взял с полки два стакана, поставил на стол:

— Наливай!

Прежде чем выпить, Григорий спросил у сержанта:

— А сами-то вы чего же? Нам одним неудобно.
 — Да чего там на всех делить, когда по сто граммов выдали, — облизнуться! — сказал сержант, приглушив голос, словно и сам тоже боялся, что их услышит хозяйка. — Своему товарищу стакан выделили — кашляет боец, — а это вам, Григорий Тимофеевич, и другу вашему... Вы уж не ругайтесь на нас, если что не так — не по своей воле у вас загостились... Но ничего, завтра, по всему видать, в наступление пошлют!

Сержант сказал всё это стеснительной скороговоркой, из которой, поглядывая на стаканы, Григорий почти ничего не понял, только последние слова о наступлении всколыхнули его, неожиданным умилением заполнили душу, и он, забыв об Акуле, сказал на всю избу:

— За вас, сынки, мы выпьем, за вас. Дай бог удачи!

От слов Григория Понимаешь ли прослезился и, не вытирая слёз, осушил стакан. Он минуту или две не дышал, будто прислушивался, как растекается водка по нутру, и, не дождавсь, сокрушённо покачал головой:

— Кабы знать, разве бы стал трескаться! А то басурманам степным уподобился. Это те сначала наедятся, а после всякую гадость пьют. — Ксенофонт Михайлович хорохорился, но водка быстро забирала его: он вспотел, глаза его увлажнились, он обнял Григория, но тот легонько отстранился:

— Погоди, Михалыч, пойдём за большой стол сядем, а то мы как и не в своём доме.

Григорий забрал стаканы, миску квашеной капусты и, усевшись под божницей, позвал Акулю:

— Мать, картошь поставь на стол, нарежь ветчины и огурцов принеси, хватит чепухой заниматься!

Не будь посторонних людей, Акуля наверняка не сдержалась бы, а тут промолчала, покосилась на мужа и, надев телогрейку и накинув шаль, пошла в погреб. Принесла огурцов, грибов и две большие редьки. Скоро на столе было, как в праздник. Сашка с Бориской пробрались поближе к мискам, Надёжка, вернувшись к этому часу с работы, хотела прогнать их, но кавалеристы ребяташек не отпустили, подкидывали их на коленях; Сашка раз за разом

кричал «ура-а», а Бориска весь слюнями испузырился, показывая на губах, как скачут лощадки. Захмелевший Григорий узнал у сержанта, какой кавалерист кашляет, налил простудившемуся стакан водки, и когда тот, переглянувшись с товарищами и словно спрашивая у них разрешения, выпил, то Григорий заботливо похлопал молодого глазастьенького паренька по плечу:

— Сегодня на печи ляжешь! Бабке своей скажу, чтобы тебя спиртом комариным натерла. За одну ночь вылечишься!

Кавалеристик после выпитого окончательно захмелел, солово смотрел на окружающих людей, но ещё соображал и понимал, что нехорошо занимать хозяйскую печь.

— Не, я на полу, вместе со всеми. Нельзя по отдельности, мы тут все земляки. Обида будет...

— Дурачок, слушай, чего говорят, — из угла раздался голос рыжебрового, — рядом с молодой хозяйкой спать будешь!

Все захохотали, а Григорий привстал над столом и глянул в угол:

— Договорись, сатана конопатая, допросись! — погрозил он рыжебровому, но без давешнего зла, и рассмеялся вместе со всеми.

Ксенофонт Михайлович, прислушиваясь, прикладывал ладонь то к одному уху, то к другому. Он счастливо жмурился и помалкивал, не решаясь ввязываться в разговор... Несколько раз вспоминалась Дарьюшка, и в такие моменты он закрывал глаза; ни разговоры, ни смех не могли вывести из мягкой дремоты, незаметно навалившейся на него. Только когда сигарка угасала, он начинал шевелиться, поднимался над столом и, наклонив лампу, долго раскуривал, тычась окурком в край закопчённого пятилинейного стекла. Прикурив в очередной раз, Ксенофонт Михайлович вдруг увидел, как в избу вошла Дарьюшка и встала около двери, не решаясь подойти к столу... Он медленно опустился на лавку, чувствуя, как сигарка жжёт пальцы, и у него не было сил, чтобы избавиться от оцепенения. Резанула мысль: «Почему она в платье? Ведь на улице зима!» В это время кто-то из кавалеристов загородил собою дверь, и старик облегченно вздохнул, словно его избавили от чего-то неп-

приятного. Но когда дверной проём освободился, то он заново разглядел Дарьюшку... Старик отвернулся, незаметно перекрестился и больше не смотрел в ту сторону, но непонятная сила делала с ним что-то необычное, и теперь ему казалось, что Григорий превратился в карлика, а Бориска, вертевшийся на его руках, стал огромным-огромным.

— Зачем держишь-то его? — спросил Ксенофонт Михайлович у Григория. — Грыжу заработать хочешь? Разве можно такого бугая на руках держать, в своём ли уме?!

— Ты чего это, дед? Лишнего хватил? — добродушно усмехнулся Григорий и, окончательно испугав приятеля, начал подбрасывать Бориску.

Ксенофонт Михайлович закрыл голову руками, словно сейчас могло произойти что-то непоправимое. А когда на мгновение оторвал ладони от лица, то замер, увидев, что Сашка успел вырасти до потолка и цепляется за крюк для люльки... Необычные видения заполнили Ксенофонта Михайловича, он хотел что-то сказать приятелю, но вместо слов испустил непонятное мычание.

— Ты чего, Михалыч, может, спать ляжешь? — спросил Григорий. — А то давай — на кровати тебе бабка постелет, только скажи!

Понимаешь ли мотнул головой и невнятно, но громко крикнул, обводя избу шальным взглядом:

— Случай со мной был!.. Лет пять назад. Возвращался в тот день, как и ныне, из Хрущёва пустой. Никакой тебе ответственности, значит. Пока плёлся от села к селу — набрался. Доехал до Князева и всё: не могу дальше — темнота вокруг и в глазах тоже. Привязал мерина к чьему-то плетню, а на полку забраться сил нету — поблизости уткнулся... — Кавалеристы притихли и, поглядывая то на гостя, то на улыбающегося Григория, окружили рассказчика, а тот продолжал: — Дело, помню, весной было — к утру-то совсем застыл, дожидаясь солнышка, а поднялось оно, так я опять заснул, козушкой укрывшись. Сплю, посапываю потихоньку и чувую, что вроде кто-то крадёт ко мне: шипит и по земле чем-то скребёт... Я дышать перестал, жду. А этот, шипучий-то, совсем уж рядом. Мне бы посмотреть, хоть одним глазком взглянуть, а я ещё ту же сжался, а то, думаю, ка-

кая-нибудь собака-шалава нос оттяпает, и чувствую, как кто-то забирается на меня: одну ногу на голову поставил, вторую и всё чего-то сопит и сопит. Чувствую, чем-то за ворот цепляется... Тогда уж не выдержал — стрельнул глазом... Сразу и не понял: чёрт не чёрт, коза не коза, а шипучий-то в вихры вцепился, вижу, канкой в ноздрю мне целит... Только тогда я сообразил, что это пыр меня топчет! Вот с тех пор всё думаю и гадаю, за кого же тот индюк окаянный принял меня?!

Кавалеристы малое время молчали, а потом, как по команде, захохотали, застонали, заохали, а Григорий, утирая набежавшие слёзы, замотал головой:

— Насмешил тогда село... — и добавил специально для кавалеристов: — Ведь хозяйка-то того индюка жалобу в сельсовет на Ксенофонта представила. Мол, он, такой-сякой, главную домашнюю птицу снасиловал.

Хохотали не только кавалеристы, но и Надёжка прыскала от смеха в кухне, и Акуля не удержалась — тоненько подсмеивалась ей, будто камешки во рту перекачивала. А когда смех немного поутих, она вышла из кухни:

— Собрались два старых дьявола... Хватит вам — и так уж животы все надорвали!

— Ты ещё расскажи, Михалыч, как с козлом на Пасху бодался! — подзадоривал Григорий, не обращая внимания на слова Акули, но Ксенофонт Михайлович отмахнулся.

Не понимал он, почему, пытаясь развеселиться, так ни разу и не улыбнулся?! Больше того: сейчас он не видел ничего особенного в своём рассказе и жалел, что заговорил, взбудоражил людей, когда надо было побыстрее лечь спать, забыться во сне, а то, не приведи Господь, опять явится Дарьюшка... Если он всегда обмирал душой, когда её желанный образ появлялся перед глазами, видел её, словно живую, и радовался этому, то теперь, вспомнив, что она приходила в эту избу, долго смотрела на него и как будто звала с собой, страшился увидеть её повторно. Он понимал, что всего этого не может быть в жизни, что, наверное, он сходит с ума, и поэтому не знал, что делать, чтобы спастись от преследующего видения. Ему казалось: надо лишь побыстрее заснуть, провалиться в сон, забыть всех и вся.

— Григорий, належь ещё, если осталось, и я буду укладываться! — потревожил он хозяина.

— Есть, есть ещё немного, — отозвался тот.

Допив с Григорием остатки, Ксенофонт Михайлович взял полушубок, кинул на пол, лёг и, укрыв голову полой, закрыл глаза, заставляя себя заснуть. К его радости, сон пришёл быстро, но поспал он немного, а проснулся от тревожного внутреннего толчка и, не открывая глаз, прислушивался к тому, что творится в избе. Он слышал, как Надёжка укладывала разбаловавшихся ребятишек, как со свекровью мыла посуду... Потом пришёл сержант с офицером, и тот сбивчиво читал кавалеристам приказ о завтрашнем наступлении. Офицер вскоре ушёл, а кавалеристы ещё долго переговаривались. Спать они укладывались нехотя, будто желали наговориться на много дней вперед. Ксенофонт не знал, когда заснул последний говорун, но отметил про себя тот момент, потому что в избе всё стихло и ему показалось, что около него кто-то стоит. Он приоткрыл глаза и увидел Дарьюшку, едва выделяющуюся светлым сарафаном в темноте. Как и вечером, она стояла около двери, только теперь приложила палец к губам, словно боялась, что он скажет что-нибудь не то. А когда уверилась, что он и не думает ничего говорить, позвала, поманив ладошкой. Он хотел что-то спросить, но лишь непонятно замычал и поднялся с пола, хотел обнять свою Дарьюшку, но она, увернувшись, открыла дверь, выбежала в сенцы и оттуда поманила ещё. И он пошёл за ней. Из сеней она вывела на крыльцо, сбежала со ступенек и завернула за угол избы... Увидев старика, часовой окликнул:

— Ты куда, отец?

— Не видишь?! — отмахнулся тот и указал на Дарьюшку.

Он заметил, как она побежала под бугор, к ручью, и простонал: «Что же она делает-то? Ведь замёрзнет, замёрзнет девка!» Сам он мороза не ощущал, только чувствовал, как в бороде и усах застревает иней от дыхания... Сколько бегал вдоль ручья по топкому снегу, боясь отстать от Дарьюшки, тоже не знал, только когда она вывела к жилью, он успокоился, подумал: «Пора тебе, девка, и замёрзнуть — не лето на дворе!» И изрядно удивился, ког-

да узнал в чернеющих постройках избу Фокина. Вот она, за городьбой... Поднимаясь из низины, вконец запыхался, а окрик часового: «Стой! Кто идёт?» — не расслышал и остановился, приложил ладонь к уху. Вроде тишина... Опять двинулся в ту сторону, где исчезла Дарьюшка, и опять окрик: «Стой! Кто идёт?» Теперь он догадался, что это окликает часовой, и негромко, по-свойски, пристыдил:

— Чего, голубок, шумишь? Меня каждая собачонка на двадцать вёрст вокруг знает, а ты кричать вздумал!

— Стой! Стрелять буду! — раздался новый окрик, и стукнул винтовочный затвор.

— Я тебе стрельну, сопляк! — погрозил старик кулаком в тень около фокинской избы, откуда доносились окрики часового. — У меня тоже стрелялка есть, — и, подбадривая себя, постучал по кобуре.

Ксенофонт Михайлович подвинулся ближе к избе, и в тишине неожиданно громко треснул выстрел. Старик вздрогнул и по оранжевой лохматой вспышке определил, где стоит часовой.

— Стреляешь? В меня стрелять вздумал?! — бормотал, расстегивая кобуру. — Я тебе сейчас стрельну...

Новый выстрел опрокинул старика навзничь. Он не успел понять, что с ним случилось, почему лежит и не чувствует своего тела. Попытался вытащить из кобуры наган, чтобы защититься, но рука не слушалась и, когда он шевелил ею, в груди что-то переливалось и булькало. Это продолжалось недолго, булькать скоро перестало, и он почувствовал, что засыпает, и очень обрадовался, что наконец-то к нему пришёл настоящий сон. Во сне он видел каких-то людей около себя, увидел и Григория. Нагнувшись к самому уху, тот спросил:

— Что же ты наделал, Михалыч?!

Старик хотел что-то сказать Григорию, но только шевелил губами, будто остерегался, что его услышат собравшиеся люди. Пока его укладывали на бурку, Григорий опустил рядом на снег; ноги почему-то не держали, со сна и похмелья он ещё не пришёл в себя и не знал, кто стрелял; ему казалось, что старик случайно подстрелил сам себя... Григорий хорошо помнил, как он лёг спать, как улеглись внучата, как

затихла сноха и он, бдительный свёкор, притулился около её кровати, решив всю ночь оберегать от рыжебрового. Долго кашлял на печи простуженный кавалеристик, вздыхала за перегородкой Акуля, и ворочался Ксенофонт Михайлович. Среди ночи он поднялся и, не одеваясь, вышел из избы, должно быть, по нужде... Долго не возвращался, и Григорий заснул, дожидаясь его, а проснулся от выстрелов, раз за разом стукнувших где-то за избой. Не зажигая света, только успев накинуть полусубок, Григорий выскочил на улицу. В это время несколько военных пробежали куда-то на зады, он хотел бежать за ними, но часовой оттолкнул винтовкой, не пустил:

— Нападение на пост! Нельзя туда.

— А старик мой где? — спросил Григорий у часового.

— Какой старик? Я недавно на пост заступил. Никого не видел.

— Так, так, — нерешительно затоптался Григорий на крыльце.

Он вернулся в сенцы, через заднюю дверь тихонько вышел во двор, а оттуда, утопая в снегу, добрался до фокинского огорода, где чернела кучка вполголоса говоривших людей. Раздвинув их, Григорий опустился к лежащему Ксенофонту Михайловичу, склонился перед стариком... Вскоре его перенесли в избу, уложили на лавке, но пока несли, никто не заметил, как он умер, и теперь набившийся снег таял в его задранной в потолок бороде как на живом, и казалось, что усталый человек запотел и отдыхает после долгой и тяжёлой работы.

Выстрелы взбудоражили Князево. В эту ночь сперва не спали только у Фокина, где стоял штаб, да в избе-читальне, где располагался караул. Теперь же полуночные огоньки виднелись во многих избах, слышалось хлопанье дверей, чьи-то окрики. В избе Григория дверь почти не закрывалась: туда-сюда ходили кавалеристы, пришло какое-то военное начальство, и позже всех явился заспанный военврач и попросил тёплой воды. Воды, конечно, не было, и Акуля кинулась растапливать печь, но пока возилась у загнетки, доктор, погрев у рта руки, осмотрел у старика рану на груди, раздвинул и прикрыл веки и накрыл его лицо серой холстиной. После ухода врача, об-

лившего после осмотра руки спиртом, никто не разговаривал: кавалеристы насупленно сидели вдоль стен, иные дремали, а Григорий примостился на приступке и, обхватив голову, смотрел, как с лавки капает кровь и растекается по полу чёрной лужей. Он хотел крикнуть Акуле, чтобы подложила какую-нибудь тряпку, но вслух об этом сказать не было сил, и Григорий продолжал сидеть, боясь сдвинуться с места. Только когда осмелевшая кошка подкралась к луже и, встряхивая головой, стала нюхать её, он не выдержал — сам принёс тряпку, а кошку вышвырнул за дверь.

Оцепенение длилось недолго: кавалеристы седлали лошадей, возвращались, снова выходили, не обращая внимания на покойника. Для них, видно, он уже не существовал, в мыслях своих они шли в наступление, волновались, но переживания прятали в шутках, взаимных словесных тычках, и Григорий, слушая их, не понимал, как можно зубоскалить сейчас. Неужто самое подходящее время? От этого в душе родилась обида, и когда Акуля подошла к нему и спросила, готовить ли завтрак войску, он буркнул:

— Обойдутся!.. Собак перед охотой не кормят!

Акуля промолчала, пригнулась, словно остерегалась удара, ушла в кухню и всё-таки стала подкидывать в печку дрова. Дров скопилось много, они почти не горели, только стреляли, выбрасывая на загнетку искры; кудлатый дым не успевал выбегать в трубу, растекался по сырой и холодной избе... Она все же успела сварить чугунок картошки до выступления постояльцев, а когда те начали прощаться, совала им в карманы горячую картошку и сквозь слёзы приговаривала:

— Не ко времени вы дело затеяли. Ныне суббота, пожили бы ещё, а с понедельника и отправились бы с богом...

Кто шутил, кто отмалчивался, а рыжебровый, воспользовавшись суетой, заглянул в кухню и моргнул Надёжке:

— Прощевай, деваха!

Григорий слышал рыжебрового, но ничего не сказал ему, только усмехнулся в душе: «Что, бес, съел!»

После ухода войска Акуля начала подметать пол, заметая сор к печи. Григорий сидел за сто-

лом, и со стороны можно было подумать, что он дремлет, но, когда Акуля, кивнув в сторону покойника, сказала: «Сколько он так лежать будет!» – Григорий приподнялся:

– Замолчи, глупая! Пускай власть решает, что с ним делать!

Словно услышав Григория, на рассвете пришли председатель сельсовета и Зубарев. Олег Никодимович расспросил, что да как, составил какую-то бумагу. Потом они с Зубаревым покурили у порога, Олег Никодимович забрал наган Ксенофонта, передал его вскоре прибывшему милиционеру и, собравшись уходить, сказал хозяйину:

– Иди, Григорий Тимофеевич, собирай стариков, надо могилу копать.

– Собрать-то недолго – дело общественное, да только Михалыч, царствие ему небесное, не нашего прихода был. Он ведь с малства – пронский. По закону-то надо бы его на городском кладбище хоронить.

– Ныне другой закон – военный. Так что собирай стариков – на князевском кладбище похороним, а я пока в Пронск поеду: гроб надо охлопотать.

Старики выходили на мороз нехотя, долго собирались, долго поднимались на холм к Барскому саду. Копать принялись не враз, а досыта налазившись по снегу: никто не хотел, чтобы могила теснила усопших родственников. Наконец сговорились копать недалеко от церкви, чуть сбоку от паперти, на которую уже десятый год не ступала нога верующего. Церковь стояла без креста, ворот не было, а вход загораживал сугроб. Пока расчищали снег, Григорий нет-нет да посматривал в церковную темень: ему чудилось, что кто-то наблюдает за собравшимися стариками, и в такие минуты Григорию делалось не по себе. Казалось, что этот, церковный, рад-радехонек, что так много пришло старых людей в его владения, и теперь присматривался к ним, прикидывая, кого бы из них побыстрее забрать к себе на службу.

Копали тяжело, хотя и не копали, а по капельке отколупывали ломami бунящую землю. Ломы казались неподъемными, земля, словно камень, и сил не хватало делать работу, как в молодости. Вспотев, они по одному расходились по избам, передохнув, возвращались, но

возвращалось людей меньше, и к обеду Григорий остался один. Правда, вскоре появился Мать-Грунька. Он встал неподалеку, а когда Григорий решил перекурить, парнишка взял его лом, но Григорий остановил:

– Возьми-ка топор... Им легче, а ломом-то все жилы вытянешь!

Васёк схватил чей-то топор с треснутым обухом и, согнувшись, начал стучать им. Устал парнишка быстро. Сел на ворох земли, распал телогрейку и махнул рукой в сторону большака, по которому с утра двигались войска.

– Солдат бы сюда, они мигом выдолбили.

– Ещё успеют, надолбятя, – отозвался Григорий. – Я, брат, в империалистическую-то знаешь сколько земли перекидал... И не вспоминать лучше... Сам-то как живёшь?

– Нормально, бабка только ругается.

– Чего она?

– Денег на табак не дает!

– Ну, это ещё полбеды. Главное, чтобы поесть было чего. А за табаком приходи как-нибудь на днях – у меня есть. Дружок на всю зиму обеспечил... Ну, давай ещё подолбим?

Перед обедом, когда Григорий и Васятка собрались идти по домам, на кладбище прибежал Сашка. Увидев его, Григорий покачал головой:

– Как же это ты, милый, добрался-то? Гляди, сколько на тебя всего бабка навешала, даже шаль свою не пожалела... Ты чего прибёг-то?

– Знамо чего... За тобой баба послала. Тебя в избе командир ждёт. Баба сказала, он на тебя арест наложит!

– Чего мелешь-то? А ну пойдём!

Пока выбирались с кладбища, Григорий нёс внука на руках, а когда вышли на большак, опустил его:

– Теперь сам беги, а то мне уж и дышать нечем.

Сашка неохотно слез с дедовых рук, но побегал резво. Григорий тоже торопился, теряясь в догадках, что это за «командир» объявился? «Какой-нибудь уполномоченный», – решил он, но ошибся. Ждал его офицер из следственного отдела. Он долго расспрашивал, заставил Григория рассказать, когда он познакомился с Ксенофонтом, какие у них были отношения, о чём разговаривали в последний вечер. Задавая

вопросы, следовательно всякий раз кивал на лавку с покойником и что-то писал и писал. Закончив писать, попросил Григория прочитать и расписаться, но старик, взглянув на лист бумаги, отказался:

— Разве ж твои каракули разберёшь, мил человек!

Тогда следовательно сам стал читать написанное, но Григорий почти ничего не понимал, только одобрительно кивал, желая побыстрей отделаться. Когда Григорий расписался, следовательно сказал ему:

— Это же в ваших интересах помочь следствию, а то по вашему селу кто-то пустил слух, что будто вы, Григорий Тимофеевич, с умыслом напоили потерпевшего и с умыслом послали его для нападения на штаб.

— До конца договаривай, — злобно взглянув из-под бровей на следователя, еле сдерживая себя, сказал Григорий. — Этот «кто-то» — сосед мой, Фокин, больше никому. Его самого бы надо потрясти... — и Григорий хотел рассказать, как Фокин стрелял в него, но в последний момент сдержался, не желая разжигать любопытство следователя.

Тот ещё поспрашивал и, не попрощавшись, ушёл. Григорий собрался на могилу, но тут появился Олег Никодимович: привёз из Пронска тесовый неоструганный гроб с вылезавшими из тесин гвоздями.

— Сам, что ли, сгондобил? — ехидно спросил Григорий у председателя сельсовета, кивнув на домовину.

— А кого в такое время допросишься?

— Оно и видно... Ты только мастак с трибуны болтать.

Пропустив слова хозяина мимо ушей, посчитав дело сделанным, Олег Никодимович исчез из избы... Вскоре Акуля привела Елизавету Фокину, и вдвоём они обмыли Ксенофонта, одели в чистое, а Григорий со стариками уложил тело в гроб. Заглянувший к Савиным Зубарев, узнав, что могила ещё не выкопана, осердился.

— Мне, что же, баб посылать на могилу?! — спросил он у хозяина, а тот не сдержался, в тон председателю:

— Баб-то легче всего послать, а ты напавь на это дело нашего Никодимыча, один хрен ниче-

го не делает, а не то и сам с ним за компанию. А у баб и в колхозе работы много!

— Ты же знаешь — Олег Никодимович не может на тяжёлых работах, — негромко сказал Зубарев, словно извинился.

— Подумаешь — грысь у него! — не успокаивался Григорий. — Мой отец всю жизнь с грыжей: и пахал, и косил, и ребят родил... До семидесяти лет дожил и за бабьи спины не прыгался.

— Ну, ладно, ладно, Григорий Тимофеевич, — начал Зубарев успокаивать Григория, — этот вопрос мы решим безотлагательно.

— «Безотлагательно!» Ишь каким словам-то научился... Да была бы у меня прежняя сила, думаешь, стал бы я вас, дристунов, просить?! Пропади вы...

Зубарев или не хотел спорить, или не знал, что ответить хозяину, но разговаривать более не стал и, сказав «до завтра», поспешил уйти.

Григорий направился на кладбище, но только приступил к работе, как с наряда пришли четыре бабы; как оказалось, прислал Зубарев. Среди них и Надёжка. Заметив сноху, Григорий погнался её домой.

— А нам Зубарев по два трудодня обещал записать, — запротивилась сноха, не желая уходить.

— Я ему запишу!.. Чего ж он сам-то? Пришёл бы, подолбил, ан нет: языком легче молоть. Ему наплевать, что ты можешь скинуть! Он не будет перед Павлом оправдываться — мне по шее достанется!

Надёжка подумала, что свёкор шутит, но когда взяла лом, он, подталкивая коленом, выпроводил её с кладбища:

— Чтобы духу твоего здесь не имелось!

До обеда, пробив мерзлоту, бабы докопали могилу, и Григорий, иногда подменявший их, отправился вместе со всеми по домам. Не заходя в избу, вывез со двора сани, собрав стариков, вынес с ними гроб и, впрягаясь по очереди, повезли гроб на кладбище. Только на бугор сани тянули все вместе... Опускали гроб и насыпали могилу молчком, без обычной суеты, потому что суетиться было никому особо.

После похорон все незаметно разошлись по домам, только Григорий задержался и долго стоял около чернеющего в снегу холмика, об-

локотившись о чью-то деревянную оградку. Было морозно, тихо, меж крестов и на соседней берёзе суетились синицы — жизнь как жизнь, а на Григория давила обида за друга, с которым всё вышло не по-людски: и к земле не придали, и поминок не собрали. «Жил человек, и нет его!» — думал Григорий.

Когда возвращался с кладбища, увидел обоз с ранеными. Он тянулся, как и прежде, со стороны Пронска, только теперешние раненые не были похожи на тех, которых везли недели две-три назад.

— Вы что, орёлики, как с именин едете? — то ли спросил, то ли пристыдил их Григорий.

— А чего печалиться, когда сучье племя назад погнали! — понеслось в ответ. — Немец так бежит, что на рысках за ним не утонишься!

Весть обрадовала Григория, а более — настроение бойцов, и он забыл и хлопоты недавних дней, и похороны, — не было сейчас времени вспоминать всё это: вот радость-то — немцев погнали, скоро войне конец! Григорий стоял обочь накатанной дороги и, когда мимо проезжали очередные сани, приговаривал: «Спасибо, сынки, храни вас Господь!» Когда поравнялись последние розвальни, с них раздался озорной голос, показавшийся знакомым.

— Привет, хозяин! — кричал с саней кавалерист с культяшкой вместо ноги, замотанной окровавленными бинтами. — Не узнаешь?.. Как сноха-то поживает?

Узнав рыжебрового, Григорий невольно улыбнулся:

— Что, бес, допрыгался?! Прыткие — они всегда первыми нарываюся.

— Ничего, хозяин, главное — живой остался и, кроме ноги, всё остальное цело! Так что повоюем...

Кавалерист ещё что-то кричал с удалявшихся саней, но Григорий слов уже не различал и всё махал и махал вслед обозу, почему-то жалея, что не успел толком поговорить с рыжебровым.

ПОБЫВКА

Весь последний месяц Савин лежал в подмосковном госпитале и не думал, что так повезёт, хотя и было это везение относительно. Он мечтал об отпуске, чтобы приехать в Князево с восходом солнца, когда бабы идут на наряд, чтобы все видели его, а не так вот по-воровски сбежать с поезда и радоваться наступлению сумерек. Ладно, он потерпит, часа за четыре доберётся до Князева, только бы раненая нога не подвела, а там... Дух захватывало у Павла, что будет там, дома! С самого утра он жил этой мыслью, с того часа, когда, расставаясь с госпиталем, получил назначение, предписывавшее явиться в район города Раненбурга. Хотя предписание было не в свою часть, но слово «Раненбург» заморозило и обрадовало, потому что добираться туда надо через Хрущёво, а Хрущёво — это, считай, дом родной.

Замёрзнув в вагоне, Павел в пути быстро согрелся и ощущал на месте зажившей раны приятный ком тепла, отчего простреленная лодыжка перестала ныть. До Больших Полян он добрался, не заметив как, и, только услышав у крайних изб звук деревянной колотушки сторожа, зашагал медленнее, прислушиваясь и невольно принюхиваясь к сельским запахам. Взятые его в кольцо голосистые дворняжки мало-помалу успокоились, разбежались по дворам, а Павлу сделалось спокойнее от их набега, потому что собачьи голоса подтверждали, что здесь живут люди, они свои, и от этого уверенность на душе, свобода. В эти минуты Павел опасался одного: патрулей. Вдруг где стоит контрольно-пропускной пункт... А это, значит, проверка документов, вопросы, то да сё. В конце концов, завернут на станцию, а там особый отдел, опять расспросы, проверки... Не знал он, что уже полтора месяца прошло с того дня, как снимали в округе посты и перестал шевелиться военный люд. Одно слово — тыл.

На полпути, не доходя Сохи, Павел почувствовал, что раненая нога одеревенела, налилась болью. Поговорить бы сейчас, отвлечься, но словечка замолвить не с кем, и он невольно вспомнил земляка, с которым вместе направлялся в Раненбург. Солдатик тот, когда Павел подбивал его взглянуть домой, пугливо жму-

рился, тёр слезящиеся глаза и всю дорогу до Хрущёва упрямо мотал головой: «Начальство ругаться будет! За это, милок, по голове не погладят. Сейчас с этим строго!» Расставаясь с ним, Павел матюгнулся в душе, сделал по-своему, а теперь, хотя и донимала нога и поговорить было не с кем, не жалел об этом. Чего жалеть, когда по собственной воле соблазнился... На окраине Большого Села Павел не утерпел, не обращая внимания на окружавших собак, присел перед чьим-то домом на дровосек, чувствуя, как пульсирующая кровь ходит по ноге. Он на какое-то мгновение задремал и пробыл в приятном оцепенении совсем малое время, в которое всё же успел увидеть сон. И снился ему последний бой и окопы на краю кладбища. Когда долбили окопы, то натолкнулись на человеческую мосолыжку. Хотели выковырнуть из земли, но она накрепко вмерзла, и, чтобы не возиться, её скололи, но не ровно, и острая кость цепляла каждого пробирающегося окопом, словно мстила за нарушенный покой... Во время контратаки немцы захватили левый фланг окопов, спасаясь от гибели, Павел, уже раненый, прыгал на одной ноге, опираясь на винтовку, и вдруг зацепился винтовочным ремнём за торчащую костяшку. Не помня себя, с такой силой рванул винтовку, что вырвал из приклада антабку и успел скрыться за окопным изгибом, последним, перед которым немцы застряли. Под вечер их выбили, но Павел в это время был уже далеко — в полковом медсанбате, в двух километрах от рубежа обороны...

Он очнулся так же внезапно, как и задремал. Нога немного успокоилась, перестала ныть, только по-прежнему туго пульсировала кровь. Рассиживаться было некогда. Павел даже не зашел к Родину, хотя по дороге до Большого Села была мысль зайти, разузнать у его жены или отца, где воюет дружок. И увидь Павел свет в окнах, зашёл бы, но спящих тревожить не стал и скорее, скорее в Князево.

На последний крутой подъём перед селом Павел едва выбрался, а выбравшись — увидел тихие Отруба, большак, убежавший в низину, темнеющую вёглами и вишенником родную усадьбу! Павел почувствовал, как подкатились слёзы, стало жарко. Он не помнил, как шёл по

Князево, как оказался у дома, тихо постучал в окно и замер в радостном ожидании, гадая, кто откроет дверь. Но открывать не спешили. Кто-то выбрался в сенцы, долго молча возился с задвижкой и не сразу спросил голосом Григория:

— Кого там носит?!

Павел задохнулся, услышав отца, попытался отозваться, но лишь что-то бессвязно проормотал.

— Кто там?! — тревожно повторил Григорий.

— Ба... Ба... Ба-тя! — еле выговорил Павел и почувствовал, как слёзы залили лицо. Более он не мог выговорить ни слова, и когда Григорий распахнул дверь и повис у него на шее, то продолжал отрывисто всхлипывать, воспринимая отцовы объятия и поцелуи, словно незаслуженно обиженный ребёнок. После радостных слёз Павел чуток успокоился, а Григорий продолжал целовать его в щёки, заиндевелые усы и всё повторял:

— Пашка, Пашка — это ты?! Пашка! Ты где же, окаянный, пропадал-то, ой-ой...

Наталкиваясь друг на друга, неуклюже уступая дорогу, они вошли в избу, Григорий ощупкой зажгёт в кухне моргаску и, увидев сына на свету, опять обнял его, прижал к себе. Когда Надёжка с Акулей соскочили с постелей, ошарашенно глядя на Павла, тоже попытались прильнуть к нему, старик не подпустил их, совсем замяв сына, а тот и не пытался освободиться из отцовых объятий. Только сейчас, в эту долгожданную минуту он понял, что такое дом, семья, родители. Отцово же внимание и вовсе всё в нём перевернуло, потому что он рассчитывал первой увидеть Надёжку, потом расцеловаться с матерью и, поздоровавшись за руку, обняться с отцом. Вышло всё наоборот, и Григорий, не отпуская сына, напустился на Акулю:

— Мать, чего стоишь? Ошалела? Собирай поесть сыну! Ведь с дороги он!

Акуля обиженно посмотрела на мужа, но ослушаться не посмела, ушла в кухню, а Григорий, моргнув снохе, спросил:

— А ты чего застыла?! Или муженьку не рада?

— Да мне и не подступиться к нему, — улыбнулась Надёжка.

— На, забирай, — подтолкнул Григорий сына

к снохе, а та шагнула навстречу, обвила шею тёплыми руками и, зажмурившись, несколько раз поцеловала, потом, заглядывая в глаза, начала снимать вещевой мешок, шинель, хотела и сапоги снять, но Павел не разрешил.

— Вот это я сам, — сказал он и, прихрамывая, прошёл к лавке, тяжело сел, начал снимать обувь.

Надёжка заметила хромоту и не удержалась, спросила:

— Опять нога мучает?

— Везучая она, — усмехнулся Павел, — в прошлую зиму сам топором рассадил, а в эту немчуря постаралась!

— Покажи...

— Да чего показывать-то... Вот сюда, в ляжку жигануло.

— В госпитале лежал? — спросил Григорий.

— Месяц провалялся.

— А чего не написал-то? Приехали бы, раз такое дело.

— Чего расписывать-то. Думал, после госпиталя отпуск дадут, хотел неожиданно заявиться... — Павел на полуслове осёкся и после паузы продолжил: — Вот и явился! Ведь, признавайтесь, — не ждали?

— Как это не ждали! Ты чего говоришь-то! — повысил голос Григорий. — Мы эти полгода не знали, что и делать без тебя. Тут такое творилось... Это сейчас вроде утихло, а то...

— Хватит тебе! — перебила мужа Акуля. — Растакался, герой. Сперва расскажи сыну, как от ероплана в лесу прятался!

— А ты не встревай в мужской разговор! Ишь, разговорилась. Паш, не слушай её — садись за стол.

— Сейчас, батя, — Павел поднялся с лавки, — только на ребят взгляну! — Он прошёл за перегородку, Надёжка заглянула в спальню с ним вместе, шепнула:

— Растут... Сашка о тебе часто вспоминает, говорит: «Как вырасту, пойду вместо бати воевать!»

— Боец! — улыбнулся Павел и поправил на сыновьях одеяла, наклонился, поцеловал и долго стоял перед ними на коленях, счастливо моргая.

Едва Павел сел к столу и взял ложку, Акуля подошла к сыну, обняла его сзади за плечи и начала целовать в макушку, приговаривая:

— Вот и мой черёд настал, вот и у меня ныне счастье...

— Хватит, хватит — навалилась! — проворчал Григорий, а Акуля отмахнулась:

— А я тебя и не слушаю! Мой сын, что хочу, то и делаю с ним!

— Ма, молочка принесла бы! — попросил Павел. — Корова-то, поди, отелилась?

Сразу все замолкли, а Акуля уткнулась в фартик.

— Ма, ты чего?

— Мы уж полгода без коровы живём... Пропала Зорька. В тот день, когда ты ушёл, пропала, — начала всхлипывать Акуля.

Павел посмотрел на жену, на отца и снова на мать.

— С гуртом чьим-то увязалась, — торопливо сказал Григорий, ни на кого не глядя. — Ты, должно быть, помнишь, в ту пору мы Зорьку-то в стадо не гоняли... Хромая она была. Да уж лучше бы погнали. Под моим присмотром никуда бы не делась, а эта вот, — Григорий кивнул на жену, — только в разговоры встревать умеет, а так ни на что иное не способна!

— Надо было догнать! — шумно вздохнул Павел. — Хромая она бы далеко не ушла.

— Догонял... До самых Столпцов бежал, да она в Проне утонула, когда гурт переправляли... Сказывают, не наша одна, — за всех говорил Григорий, и ему в эти минуты стало стыдно перед сыном, будто был виноват в пропаже Зорьки.

— Как же без коровы-то обходитесь?

— Вера помогает, нет-нет да принесёт горшок молока... Ребятам хватает.

— Вот что сделайте, — после долгой, напряжённой паузы подал голос Павел, — время не тяните, а сходите в Городище — там никогда телят не держат, — и посмотрел на жену. — Ты бы и сходила, поговорила с невесткой: либо у неё, либо у кого ещё присмотрела тёлочку. Глядишь, выросла бы, сена-то года на два хватит, а там и война кончится, не вечно она будет греметь... А с Дмитрием бы я потом расплатился, не чужие, сочлись бы.

— Убили Дмитрия-то, — вздохнула Акуля, — ещё осенью убили.

— Опять встревашь! — грозно глянул на жену Григорий. — Тебя просят нос совать? Просят, тебя спрашиваю?!

— А ты не кричи на меня! Умный какой. Сено лошадям потравил, а теперь учить начинает! У, бесстыжий!

— Мам, перестань! О каком сене говоришь? — спросил Павел.

— Которое в сарае лежало... Ведь у нас тут войска день и ночь шли. Постоем стояли, а он, — Акуля ткнула пальцем в сторону Григория, — лошадей полный двор напустил!

— По своей воле, да?! Военное время — никуда не денешься! — плюнул Григорий.

— Военное время! — передразнила Акуля. — Что-то сосед наш вместо кавалерии штаб у себя расселил... Елизавета рассказывала, что после штаба добра всякого осталось видимо-невидимо, одной говядины шестнадцать железных банок! А ты салыце последнее растащил — постояльцев кормил. О них казна позаботится, а о тебе — жрать будет нечего — никто не вспомнит!

Григорий сник от напора Акули, вжал плечи и изредка поглядывал на сына, ожидая от него защиты, но Павел не спешил принимать чью-то сторону. Больше того: известия о пропаже коровы и гибели Дмитрия, ругань родителей не особенно-то и вывели Павла из приподнятого настроения, жившего в нём последние часы, когда рвался домой. Сейчас Павел даже забыл о гудящей ноге и думал лишь об одном: как можно быстрее оказаться рядом с женой, и поэтому, чтобы не слушать бесконечный родительский спор, сказал примиренчески:

— Хватит вам ерепениться, давайте спать!

Он вышел из-за стола, начал раздеваться и, когда уж забрался под одеяло, попросил Акулю:

— Ма, разбуди завтра пораньше, а то на одну только ночь отпустили.

Акуля ничего не ответила, а Григорий заходил по избе туда-сюда.

— Как это на одну ночь? Нет такого закона, чтобы после госпиталя на одну ночь разрешали! Что они там, мать их, совсем сбесились! — забыв о разговоре с женой, начал бушевать старик. — Это кто ж такой закон выдумывает? У-у-х! — Григорий прислонился к перегородке, закрыл лицо руками, и плечи его часто затряслись, будто он смеялся.

Павел встал с постели, подошёл к отцу, обнял:

— Успокойся, батя, мне ещё повезло, что хоть на ночку отпустили, другим и этого не снится.

— Хорошо везенье: ночью ноги обивать!

— Домой ноги сами несут, а завтра, может, с кем подъеду... Понимаешь ли подвезёт. Как он поживает?

Григорий перестал трястись, вытер глаза, вздохнул:

— Хорошо живёт, сам себе хозяин на бугре у церкви...

— От чего умер-то?

— Подстрелили...

Григорий начал рассказывать о Ксенофонте, и пока он говорил, Павел вернулся к Надёжке. Когда Григорий сказал, заканчивая рассказ: «Так что старик хорошо устроился!» — Павел отца почти не слушал, ощущая рядом Надёжку, и смиренно уставился в потолок, дожидаясь, когда отец наговорится. Когда же Григорий задул моргаску, они, дрожа и постанывая, сразу сцепились в объятиях, и не было в эти минуту силы, какая могла бы разъединить их. Одарив друг друга, они затихли, но почти сразу новая волна страсти овладела ими, заставив забыть обо всём на свете. Когда на минутку успокоились, на Павла навалилось неожиданное веселье, и, слегка похлопав жену по большому животу, он будто серьёзно спросил:

— Без меня, что ли, успела распухнуть?

Надёжка молчком ущипнула Павла за нос, словно сказала: «Вот тебе за такие слова!»

— Когда срок-то? — вырвавшись, по-прежнему насмешливо поинтересовался Павел.

— В марте, — шепнула она и опять ущипнула.

— Ты смотри, вроде мой! — фыркнул Павел и обнял жену, прижал к себе, загоревшись желанием навсегда раствориться в ней.

Это желание бушевало в нём до того часа, когда он услышал, как поднялась с постели мать, как она ощупкой долго одевалась, словно оттягивала нежеланную минуту, когда должна будить сына. А когда Акуля зажгла свет и подошла к их постели, Павел уж сидел на кровати, обняв Надёжку.

— Вставай, сынок, — негромко и неохотно, будто её заставляли, сказала Акуля.

Павел встрепенулся, молча оделся и пошёл умываться. Заметив, что он припадает на ране-

ную ногу, Григорий зашептал с печи:

— Паш, не ходи сегодня... Погодил бы. А не то, хочешь, вместе пойдём. Я начальству твоему в глаза наплюю. Чтобы больного раньше времени из госпиталя не вышвыривали!

— Никто меня не вышвыривал, — отмахнулся Павел. — Ныне всех так — некогда по койкам разлёживаться.

Продолжая ворчать, Григорий нехотя слез с печи, сел на приступку, поджав босые ноги.

— Оделся бы! — пристыдила Акуля. — Мотнёй-то воняешь!

— Пошла ты... — отмахнулся Григорий. — Без тебя тошно...

Проводы были суматошными. Акуля лишь успела разогреть в печи оставшуюся с вечера сковородку с жареной картошкой да разлить по кружкам чуть тёплый чай. Павел же почти не ел и не пил, хотя старались для него. Выйдя из-за стола, он заглянул к сыновьям и долго смотрел на них, освещая лица моргаской.

— Надёжк, разбуди их, — подсказал Григорий, — пусть на отца поглядят!

— Не надо, — остановил Павел жену. — Спросонья они всё равно ничего не поймут, только перепугаются.

Павел поцеловал спящих сынов, выйдя из спальни, начал одеваться. В этот момент все застыли, боясь некстати обронёнными словами нарушить злую и необъятную тишину. Павел чувствовал на себе взгляды жены и родителей и боялся поднять глаза, неожиданно налившиеся слезами. Сейчас ему более всего не хотелось показывать их, словно оттого — увидят их или нет — зависела его дальнейшая судьба. Торопливо поцеловав мать с отцом, Павел обнял Надёжку, прижался к ней. Чувствуя, как новая волна горечи сжимает горло, Павел подхватил вещевой мешок и вышел в сени, хрустнув промёрзшей за ночь дверью. За ним вышли Надёжка и Григорий, ощупкой дошли до крыльца, но Павел завернул их в избу, торопливо выбрался на большак. Ему хотелось в эту минуту оглянуться, крикнуть что-нибудь провожающим, потому что он знал, что они настырно стоят на крыльце, но не оглянулся, прибавил шагу, стараясь поскорее слиться с темнотой.

Только выйдя за Князево, Павел стал прихо-

дить в себя, слово за словом вспоминать разговоры, жесты, взгляды семейных. Начал по-настоящему осознавать и пропажу коровы, и гибель Дмитрия, и всю жизнь семьи за прошедшие полгода. В сознании рождались мысли о том, как лучше прожить домочадцам, мучило сожаление, что ничего не успел сказать, как-то помочь им. Он был готов сейчас надавать советов по всякому поводу, но всё дальше и дальше уходил от дома, а сердце болело всё больше от сознания того, что не знал, когда вернётся или хотя бы заглянет в Князево, и вернется ли вообще. Но о смерти Павлу сейчас думать не хотелось, он не боялся её, наверное потому, что уже полгода ходил с ней в обнимку. За этими мыслями не заметил, как миновал Мосток и Большое Село. Только когда подошёл к Сохе и увидел в зыбком рассвете выезжавшие из-за разорённого дервизовского дворца розвальни, мысли его перестроились на армейский лад. Выехав на большак, возница остановил унылую лошадь, кивнул:

— Прыгай, солдат! Должно быть, на станцию с утра пораньше чешешь?

— Туда, — отозвался Павел непослушными от мороза губами.

Бородатый возница принялся расспрашивать Павла о фронте, о том, откуда он идёт и куда. Павел что-то отвечал, что-то сам спрашивал, всё глубже закапываясь в солому, чувствуя, как душу и тело одолевает непобедимый сон.

ВСПОМНИЛ ДЕД МОЛОДОСТЬ

Ещё позавчера Григорий решил сходить в Пронск. Старик надеялся найти покупателя на оставшееся сено или обменять сено на картошку... И ещё была причина, из-за которой он рвался в город: так зима надоела, особенно в последние дни, так она придушила тягостным однообразием, что ему куда бы никуда отправиться, лишь бы не видеть молчащую жену, да и сноху — тоже. Пока ходила на работу, вроде бы не мешала, а теперь, перед родами, как бельмо на глазу. «Нет бы к сестре сходить, так она день-деньской в спальне как чумная сидит. Чего-то вяжет да штопает. Это

ладно — при деле, а чего вздыхать-то? Чего? На душе невесело? Так, поди, не у тебя одной. Я вот что-то не вздыхаю, а ох как надо бы вздыхать-то, ох как надо!» — думал Григорий, торопливо собираясь, спеша уйти до возвращения Акули.

Успел, и это ещё более ободрило, налило душу забытой радостью вольного житья, хотя на улице весной и не пахло, но зато солнце, солнце-то какое! Аж руке жарко, так припекает! На всём порядке ни души, и, оттого что не с кем оказалось перекинуться словечком, душу Григория заполонила весёлая злость. И когда, уже за мостом, увидел у крайнего двора Кривошеевых выглянувшую из сеней бабу, то крикнул ей:

— Стоишь, хлебальник разинула, а за двором пламя гуляет! Горишь, глупая!

Баба охнула, бросилась в сенцы, а Григорий, неожиданно развеселившись, как молодой, бодро зашагал к расставанным вёслам. Вышел наверх... и дух захватило от света и белизны искрящихся снегов. А тишина, тишина-то какая! Не верилось, что где-то стреляют, рвутся бомбы и стонут раненые. Здесь же даже саней не видно и путника никакого, словно вымерло всё живое или спит тяжёлым угарным сном.

Григорий не знал, куда и к кому идти. Старик поумирали, кто помоложе — на фронте. Только дойдя до Пронска, вспомнил о Затеихе, жившей в Затинной слободе, — старинной вдове, у которой не раз останавливался в былые годы, иногда с друзьями. Как её звали по-настоящему, Григорий не знал и тогда, кажется, Шурой или Клавой, — каждый называл как хотел, — она на всякое имя отзывалась. Для них тогда не это было главное, а то, что примет и днём, и ночью, напоит, накормит, спать уложит, а если есть желание, то и сама рядышком ляжет. Уж такая выдумщица: то так повернётся, бывало, то эдак, словом — затейница, каких свет не видел, не баба, а сплошное удовольствие. А утром-то денежку за ночевку возьмёт так манерно, будто денежку эту в долг давала, стопочку на дорогу нальёт — как тут не вспомнить человека добрым словом!

Мимо пустынного базара Григорий спустился большаком под гору, хотел пройти к знакомому дому напрямик, да тропинки не оказа-

лось, как прежде, и пришлось ломиться в обход, снизу. К дому подошёл, а он будто и нежилой. Стукнул Григорий бадиком по стеклу, потоптался перед окнами да собрался поворачиваться, как дверь неслышно отворилась, и два любопытных карих глаза засветились в полумраке, и раздался заветный голосок:

— Кто это? Никак Григорий Тимофеевич!

От знакомого голоса Григорий сразу повеселел — не зря шёл! — и, будто сбросив десятка два лет, задиристо топнул:

— Растворяй ворота, Затеиха. Век тебя не видать!

Григорий думал, что встретит её прежнюю: грудастую, золотокудрую, а она за последние годы постарела, нос стал почему-то курносый, да и сама опала: и с лица, и с тела — старуха старухой. Но виду Григорий не подал — знал, что и он хорош хрыч, поэтому разговор начал серьёзно:

— Шёл вот мимо... Дай, думаю, забегу по старой памяти, — говорил он немного виновато, ступая следом за хозяйкой в дом. — Второй день по Пронску шастаю, — продолжал говорить в доме, неторопливо раздеваясь, — а покупателя на сено всё не найду... Да и то сказать, какие в нынешнее время покупатели?

— С каких это пор стал сеном-то заниматься? — спросила Затеиха между прочим, вешая одежду гостя в шкафчик у входа, и так поглядывала на Григория, будто век живого мужика не видывала.

— Недавно... — нахмурился Григорий. — Коровы у меня осенью похитилась... С чьим-то гуртом увязалась и утонула в Проне около Столпцов...

— Плохо без коровы в такое время, — вздохнула Затеиха и, пока Григорий жаловался на горькое житьё-бытьё, успела поставить на стол графинчик, а к нему небогатую закуску: грибки, огурчики и сальце, тонкими ломтиками нарезанное.

Увидев графинчик, Григорий начал глотать слюну и перестал говорить. Он даже забыл, зачем пришёл в этот дом, будто оставил все заботы где-то далеко отсюда, а где — и сам не помнил. Да и что помнить о них, когда без забот этих, ох, как хорошо, оказывается, жить. Благодарить, да и только... И разговоры-то пошли,

как в прежние времена, когда Григорий был не чета себе нынешнему. Выпив лафитничик, он начал счастливо жмуриться, удивлённо поглядывать на хозяйку, а та, невольно проникаясь его чувственным взглядом, тоже смотрела на него по-особенному и, наверное, волнуясь, тербила седоватую кудельку у виска. Говорила при этом мягко, вкрадчиво, хотя и в прежние времена не отличалась грубостью в разговоре. Когда Григорий выпил второй лафитничик, Затеиха подседа к гостю, будто ненароком навалилась, а Григорий, скрывая неожиданное смущение, налил ещё и выпил так решительно, будто уничтожил лютого врага. А Затеиха наступала, и Григорий, чтобы хоть как-то скрыть нерешительность, спросил таким тоном, будто она сама завела разговор о сене:

— Ты уж, барышня-госпожа, договаривай... Договаривай насчёт сена-то! Быть может, кого имеешь в виду или ещё что?

— А что мне твоё сено, — вздохнула Затеиха, — когда холод душу сковывает и не к кому головушку прислонить.

— Значит, дровами бедствуешь? — оживился Григорий. — Так сразу бы и говорила! А то молодуха нашлась какая — холодно ей! Да мы тебя сейчас... — и Григорий шутиливо обнял Затеиху, прижал к себе, а та, будто вырываясь, начала стыдить:

— Ну что вы в самом деле, Григорий Тимофеевич? Не озоруйте! Баловник какой... Это вам не идёт. В ваших годах мужчины солидными бывают, а вы как... ну, этакий... — Затеиха недоговорила, рассмеялась и прошла по комнате, оглядывая себя.

Пока она, как молодуха, вертелась перед зеркалом, Григорий налил себе ещё, и в его движениях появилась хозяйская уверенность. Теперь он не думал о том, что, быть может, что-то делает не так, перестал стесняться, словно вспомнил, что не то это место, где могут упрекнуть в чём-нибудь. Здесь всяк на всё горазд!

— Холодно! — повторила Затеиха и, передёрнув плечами, насмешливо посмотрела на гостя. — И дров привезти некому. Раньше-то, когда помоложе была, ваши князевцы дровами-то завалят, а нынче всё, шабаш, забыли все обо мне. Вспомнил сегодня один, да и то никакого проку.

Если бы Затеиха после этих слов не рассмеялась, не посмотрела на Григория презренно, он бы пустил её слова мимо ушей, а то так сделалось обидно — хоть плачь. И вместе с обидой пришло всегдашнее желание насолить обидчику, чтобы он, Григорий, смеялся последним, а не какая-то задрипанная Затеиха!

— Так ты о дровах-то серьёзно говоришь? — спросил Григорий как ни в чём не бывало.

— А чего же мне шутить. Был смех и весь вышел. Замерзать никому не хочется.

— Сколько же тебе дров-то надо? Воз или два?

— Да и воза бы хватило — скоро весна, — сказала Затеиха так, будто дрова и не нужны были.

— В этом мы можем помочь, — обнадёжил Григорий. — У меня сосед в объездчиках служит. Мы с ним душа в душу... Только скажи — на другой день самые лучшие дрова будут! Ясенёвые! А может, сегодня привезти?

— Да уж, ладно, скорый нашёлся, — усмехнулась она. — Был бы такой во всём шустрый. К концу недели привезёшь, и на том спасибо.

— Вот и хорошо, — стал собираться Григорий, словно торопился выполнить обещание, но у порога замялся. — Только это... Сама понимаешь, на сухую ничего не выйдет.

— Григорий Тимофеевич, так вы же угостились!

— Ты уж, барышня-госпожа, не обижай, когда и так кругом одни обиды, только мне и с собой надо дать.

— Когда дрова будут, тогда и рассчитаюсь.

— Это-то всё понятно... Объездчик хоть и сосед, а, сама понимаешь, без этого дела к нему не подойти.

— Ой-ё-ёй, — запричитала Затеиха, направляясь в кухню, и вынесла бутылку. — На, что с тобой поделаешь — не замерзать же.

В Князево Григорий возвращался счастливым. Он не знал, что за счастье привалило, и не хотел знать, потому что, когда ковылял домой, солнышко ещё немного грело и наполняло душу радостью. Выйдя за Пушкарскую слободу, Григорий достал из полушубка Затеихин подарок, приложился к горлышку, а когда дошёл до расставанных вётел, то и вовсе остановился, припал к наклонному стволу и долго стоял, поглядывая сверху на Князево и оглядывая его

порядки, Барский сад за селом, выглядывавшую из-за чёрных лип красноватую церковь. Незаметно тени удлиннились, побежали вдоль пустынного большака, а Григорий всё стоял и стоял, опоражнивая бутылку и чувствуя, как всё больше и больше разрастается мир, как становится он пугающе большим, громоздким и начинает двоиться. Всё вокруг раздвоилось, даже большак, и когда Григорию надоело смотреть на эту несурзаицу, неизвестно почему пришедшую к нему, он оттолкнулся от ветлы, заковылял домой, выбрав из двух дорог одну, более наезженную...

Возвращаясь, не хотел ругаться, но, едва ввалился в избу, само собой вырвалось:

— Мать, приготовь-ка ножи — точить буду...

Акуля промолчала, и её молчание показалось Григорию необычным. Он не знал, что ещё сказать, чем припугнуть, и, скинув у порога полушубок, в валенках полез на печь... Не разувался он три дня и три ночи, найдя это очень удобным: когда идёшь во двор, не надо обуваться, но на четвёртый день Григорий всё-таки валенки снял и, улучив момент, когда Акуля куда-то ушла, вымыл в тазу ноги; захотелось и самому помыться, но воды в чугуне не хватило бы... Он снова залез на печь и спустился только ночью, когда все улеглись спать, и съел несколько мелких картофелин, оставленных Сашкой домовому.

Первое время Григорий считал, сколько дней прожил так, но вскоре считать перестал, найдя в неведении неожиданную радость. Правда, однажды его, занятого мыслями о переустройстве мира, отвлекли, а мечтал Григорий о таком времени, когда все люди будут жить мирно. Чтобы не страдали родители за детей, а дети за родителей своих, чтобы вообще не было страданий. «Вот, спрашивается, зачем я по чужим дворам, бывало, шастал, чего не хватало? Выпивки? Так её чем больше, тем больше надо... Не нашлось в то время умного, кто одёрнул бы, нет... Всем скопом учить начали: печёнки отбили, а доброго слова не нашлось! Скопом-то ох как любят бить, каждый норовит незаметно в глаз ширнуть или ещё куда, чтобы побольнее было. А били-то из-за чего: из зависти! Не по себе делается, когда другой бражничает и с чужими бабами

гуляет. А нет бы по-хорошему поговорить. Миром. Всю жизнь я ждал, чтобы со мной кто-нибудь поговорил, ну хоть разочек... Вместо этого сына убили в соседнем районе, опять скопом, будто лошадь у них на равных паях с человеком. Надо бы тогда всю деревню спалить за Ивана, чтобы не равняли со скотиной, чтобы наперёд знали, что делают... Как ни верти, а без войны не получается у людей. Учатся этому, а сколько ещё будут учиться — никому неведомо. Взять хоть нас с Фокиным: вот приди он и скажи: «Давай, Григорий, мировую! Чего нам с тобой делить? Мы всю жизнь соседями живём, вместе в комбеде заседали, когда с германской пришли, с флагом по селу ходили!» Так нет, не поддамся, не пойду у него на поводу. Он и на два года моложе, а главное, веры ему нет: наговорит одно, а делает по-другому. И не так, чтобы и себе хорошо, и другим. Нет — только себе!» Мысли путались, мешали одна другой. Григорий хотел какую-нибудь запомнить, чтобы подумать о ней через день или два, прикинуть: хороша ли? Сразу-то ведь не решишь, а тут ещё Акуля над душой стоит, который раз повторила:

— К тебе пришли!

— Кого ещё принесло? — отдёргнув занавеску, зыркнул на жену Григорий, а посмотрел левой — мать честная! — Затеиха у порога стоит, свекольные намалёванные губы обиженно поджала, словно царица.

— И не стыдно вам, Григорий Тимофеевич, одиноких женщин обманывать?! — покосившись на печь, плаксиво молвила Затеиха. — Обещали дров через неделю привезти, а уж третья заканчивается... Если обещали, надо исполнить, ведь недаром же... я целый литр потратила, а, выходит, впустую.

— Какой литр, — огрызнулся Григорий, — когда только бутылку дала, да и то бурды си-вушной?!

— А в доме угощались!

— То не в счёт... Или ты, как в прежние времена, за глоток готова последние штаны снять! У, наглая. Пришла, никого не постеснялась. Кто тебя звал? Кто? Пошла прочь! Дров ей захотелось... Вона они — в лесу стоят. Иди и пили, руби, вези, может, окорока-то растрясёшь.

— Жаловаться буду! В сельсовет пойду!

— Иди, иди — в ту же ночь подожгу и дверь колом подопру, чтобы не выскочила! Да и никуда не пойдёшь, саму потом за шкуру возьмут как злостную самогонщицу!

Затеиха закатила белки, отчего крупные водянистые глаза стали ещё больше, что-то запричитала, заголосила и, плюнув в Григория, выкатилась в сени.

— Мать, сходи закрой за ней, а то до вечера будет тут ашурками трясти, погань.

Когда Акуля осторожно вышла за порог, Григорий прикрикнул на сноху:

— Ты-то чего закатываешься, кобыла пузатая? Смешно ей!

Надёжка прыснула ещё громче, а он задёрнул занавеску и демонстративно затих. Был он в этот момент зол и на Затеиху, и на жену, и на сноху — на всех на свете. Все мешали ему зацепиться за какую-либо живую мысль.

Мысли обидно неслись мимо, но после ухода Затеихи Григорий испуганно догадался, какая живёт в нём постоянно, — о близкой кончине! Где застанет костлявая? Успеешь ли раньше увидеть Павла? Мучительные эти вопросы совсем затерзали, когда он начинал думать о сроках войны. Ведь поначалу, когда погнали немцев от Москвы, казалось, что теперь им не удержаться, к весне добьют, а выходило не так, как думалось. Война грозила стать затяжной, как и первая германская, и, если будет так, не дожждётся он её конца, не увидит сына.

УМЕРЕТЬ, НО ДОНЕСТИ

Жизнь продолжалась. Весна пришла. Надёжка успела родить девочку, быстро оклемалась, и понеслась круговерть домашних забот. Впервые нарвала за двором и у плетней молодой незлой крапивы, изрубила помельче, добавила в чугунок горстку муки... Когда в обед выкатила чугунок из печи, забелила щи молоком. Есть можно. Картошечки бы ещё помять, но её совсем не осталось. Даже на посадку. А через день по селу слух пошёл, что за Городищем целое поле необранной с осени картошки, и те, кому уж совсем в рот нечего стало положить, потянулись на это поле. Пошла и Надёжка, скорее из любопытства. Картошку и

правда не успели выбрать, и теперь народ со всей округи кишел на поле: старухи, дети, старики копались в земле, выскивая разбрюзгшее гнильё и собирая это месиво в вёдра. Потом блины пекли. И Акуля испекла на следующий день, когда вонючее месиво протёрли, процедили и собрали отстоявшийся крахмал. Блины получились серыми и ломкими, но есть можно. Прежде блины из картошки да крахмала называли драниками, а теперь — тошнотиками. Только тошнотики Савины в эту весну более не пекли: Надёжка пошла на работу, а ночами начала копать огород. Сначала понемногу, продвигаясь с пригорка к низине, но чем меньше оставалось невскопанной земли, тем хотелось быстрее докопать. Но за этим дело не стало, сажать нечем — вот беда! Вера, правда, дала ведро мелочи, но много ли это, а время-то уходит. У кого картошка была — все посадили. Вот уж и сады доцветают, а у Савиных огород пустует. Спасибо, Зина-почтальонка надоумила сходить в Болотово, где, как она рассказала, какая-то старуха то ли продаёт картошку, то ли в долг даёт.

— Сходи, сходи, — советовала Зина Надёжке, — два-три ведра принесёшь — всё дай сюда.

И в ближайший выходной, отпросившись у бригадира, Надёжка собралась. Взяла мешок покрепче, лапти надела поновей, потому что идти до Болотова десять километров, а кто говорит — все одиннадцать. Вышла ранним утром, когда пахло зацветающей сиренью, а в небе над порядком кружился коршун, высматривая у фокинской избы цыплят. До Городища добралась быстро и, не заходя в посёлок, мимо питомника углубилась в лес, миновала его и очутилась на водораздельной высокой равнине, занятой полями: сразу и необразишь, куда идти. Болотово увидела неожиданно: притулилась деревушка в низине, словно от мира спряталась. Спросила, кто картошкой богат, — никто не знает. Наконец одна старуха догадалась:

— Тебе, должно, кривоглазый Алексей из Выселок нужен... У него картошки пропасть — он осенью до самого снега картошку выбирал на брошенном поле. Весь окупырился. Иди к нему! — сказала старуха, предосудительно поглядывая на Надёжку, словно подозревала её в чём-то.

До Выселок ещё два километра. Нашла и деревеньку, и незнакомого Алексея, оказавшегося молодым косматым мужиком, насто-роженно глядевшим из-под пряди нечёсанных рыжих волос.

— С чужими дел не имею, — неопределенно и ворчливо сразу сказал он на крыльце, рассматривая Надёжку единственным глазом и заслоняя собою дверь. — Сама подумай: дам тебе семян, а где потом искать буду?

— Сказано: из Князева я, Павла Савина жена, — спокойно втолковывала она, хотя душа кипела от злости.

— Никакого Павла не знаю! — мужик выморкался, утёрся рукавом и собрался уйти в избу.

— Тогда, может, моего брата Дмитрия знал, лесника? У него где-то в ваших местах обход был!

— Это какой Дмитрий-то, из Городища, что ли?

— Во-во, он самый...

— Так бы и сказала, — оживился мужик. — Тебе сколько: ведро, два? Только сразу говорю: сейчас возьмёшь ведро семенной — осенью два отдашь товарной! Такое у меня правило.

Надёжку обрадовало, что мужик даёт картошку в долг, и поспешно согласилась:

— Как скажешь, хозяин, так и будет!

Набрала в подполе три ведра мелочи — подпол почти полон! — подумав, высыпала в мешок и четвёртое, а наверх вылезла, приподняла — вроде легко показалось. Вернулась в подпол: ещё два набрала, сказала сидевшему рядом косматику, считавшему ведро:

— Вот теперь полный мешок, для ровного счёта.

— А донесёшь? — удивился мужик.

— Раз уж набрала — надо нести, — улыбнувшись, ответила Надёжка таким тоном, будто каждый день за десять километров мешки носила. — Только поднять помоги.

— Поднять-то недолго, чё потом-то делать будешь?

— Да уж как-нибудь...

Взвалила она мешок на плечи — нести можно. Выселками пробежала бойко, а за деревенькой захотелось перехватиться, да не стала суетиться под взглядами копавшейся в огороде старухи, смотревшей на Надёжку из-под

ладони и приставлявшей ко лбу то одну руку, то другую. Только когда Выселки скрылись из виду, она позволила себе перехватиться, подбросив на спине мешок, и после этого показался он чуть ли не вдвое тяжелее. Хоть на землю скидывай. Подумала так, и страшно сделалось, потому что скинь сейчас мешок, отдохни, потом ни за что не поднимет. Нет, надо нести, терпеть, не думать о тяжести, надо петь что-нибудь, забыться надо. Вспомнились две строчки из песни о несчастной девушке, похищенной разбойниками. Песня была протяжная, жалобная, вертевшаяся и вертевшаяся на языке: «Сосна горит жарко, Галя плачет жалко...» — и Надёжке показалось, что это она сама плачет, привязанная к горящей сосне. И слёзы подступили, и не хватало сил забыть о несчастной Гале, забыть о себе, чтобы тащить и тащить, уткнувшись взглядом в землю и ни о чём не думая. Где-то над головой в молодой зелени пели птицы, радовавшиеся свету жизни, пели беззаботно, как казалось Надёжке, и ей самой захотелось стать птицей. Тогда не надо мучиться, ломать голову заботами — день прошёл, и слава богу... А до дома ещё идти и идти. Онемела шея, и спина онемела, а руки сделались ватными. Высох пот, ручейком бежавший с подбородка, нестерпимо захотелось пить, и Надёжка мечтала хотя бы о глоточке воды — губы смочить! И что из того, что воды кругом много: и в лужах, и в колеях стоит, но поди дотянись до неё... Дорога шла в пологий подъём, скоро должен показаться питомник, и тогда просёлок будет ровней, будет легче. А за шоссе-кой и вовсе хорошо — уклон начнётся. Только успевай ноги переставлять... Дойдя до питомника, опустила мешок на городьбу, вылезла из-под него, боясь вздохнуть всей грудью. Она придержала мешок дрожащими руками, а самой хотелось лечь, закрыв глаза, раскинуться на траве... Чем дольше стояла у городьбы, тем сильнее чувствовала усталость, словно усталость эта, спохватившись, надумала окончательно разделаться с человеком, не пожелавшим поддаться ей. «Иди, иди, — подгоняла себя Надёжка. — Помощи ждать неоткуда!» Она подлезла под мешок, когда бралась за него, он едва не выскользнул из рук... Удержала,

понесла, через каждые сто шагов останавливаясь поправлять мешок. За шоссейкой останавливаться стала чаще и, увидев на опушке поваленную осину, решила отдохнуть. Последний раз. Пока отдыхала, то подумала: «Что же во мне ума-то нет? Отсыпать бы полмешка, спрятать в кустах, а после забрать». Но эта мысль Надёжку не обрадовала: «А вдруг кто найдёт! Что тогда делать? Нет, надо всё нести... Может, в кустах кто-нибудь ждёт не дожждётся, когда я мешок уполовиню!» И опять шажок за шажком всё ближе и ближе к дому. Вот уж и Князево вдали завиднелось, поле перед селом дугой прогибается. Пока по нему тащилась, вспомнилось, как в половодье здесь с брёвнами воевала. Тоже несладко было, чуть не померла, спасибо, Елизавета выходила... Почти у самых изб Надёжку догнал Фокин, узнав её, ехидно крикнул с ходка:

— Садись, толстопятая, подвезу!

У неё не осталось сил на слова. Она даже глазом не повела, словно это малое движение могло остановить, лишит последних сил... Она не помнила, как шла вдоль порядка, как подошла к дому и вместе с мешком рухнула у крыльца. Пришла в себя от всхлипываний стоявшего рядом человека. Надёжка смотрела на него и не могла понять, кто он, почему плачет.

— Папань, ты чего? — наконец спросила, узнав в человеке свёкра.

Григорий начал поднимать сноху, пытался посадить её на ступеньку крыльца, но та лишь мотала головой и заваливалась на бок:

— Полежу, полежать хочется...

— Как хочешь... Мать, ты где? — донесся из сеней голос Григория. — Иди сюда — Надёха надорвалась!

Акуля прибежала вместе с внуками. Бориска заревел, а Сашка ухватил мать за руку и стал тянуть к крыльцу, прикрикнув на Григория:

— Дед, ты чего не помогаешь-та!

Все вместе усадили Надёжку на ступеньку, Сашка принёс матери воды, и та пила жадно, плескала воду на лицо и снова прикладывалась к ковшу, едва удерживая его в дрожащих руках. Бориска мало-помалу первым успокоился и, подойдя к мешку, сказал обрадованно:

— Мнямя!

Пока она приходила в себя, Григорий вёдра-

ми перенёс картошку в сенцы, накрыл мешком, а Бориска не отходил от него. Он терпеливо дождался, когда начнут варить картошку, накормят, но не дождался и заснул. Когда же проснулся, то в доме никого не нашёл и, выйдя за двор, увидел мать и брата: мать лопатой копала лунки, а Сашка опускал в них картошку... Чуть дальше Бориска увидел бабушку, таскавшую за собой деревяшку с тремя зубьями и чертившую ими землю.

— Этот дьявольский маркер все руки отмотал! — пожаловалась Акуля снохе. — Пойду за дедом — пускай потаскает!

Григорий в это время сидел в сарае и плёл из конского волоса свильцы.

— Лодыря гоняешь?! — напустилась Акуля на мужа. — Иди на огород! Надёжка там убивается, а ему хоть что!

— Совсем не убьётся — она здоровенная... У меня дело поважней есть! Завтра стеречь пойду! Кнут готовлю.

— Рехнулся! — закатила Акуля глаза. — Сам же всю зиму говорил, что нутряная жила набухла! Брехун старый.

— Сейчас легче стало. Пасти можно, да и Васёк подрос. Но всё равно тяжело ему одному.

— «Мо-ожно», — скривилась Акуля. — В нынешний год не разбогатеешь, не думай. Людям самим есть нечего. Крапиве не дают вырасти.

— Что мне думать, когда и так всё ясно. Тебе-то, может, всё равно, а мне по селу стыдно пройтись, в глаза людям посмотреть. Я ещё помню, как старики на нашей крыше корячились, а ты, видно, забыла!

— Какой совестливый стал! Раньше бы таким нужно быть, когда разбойничал!

— Тебя тогда не спросил... Да и теперь поменьше слушался — две недели не потерял бы!

Григорий на огород так и не пошёл, а Акуля пока ругалась с мужем, пока зашла в избу напиться, пока ходила туда-сюда, то вернулась к Надёжке, когда уж та с картошкой расправилась. Да и много ли одним мешком посадишь? Оказалось, пол-огорода зря копала — семян не хватило, и нигде их теперь не найдёшь. Но и то, что сделала, радовало. Теперь лишь бы погода не подвела. Убрав маркер во двор, прихватив ведро с лопатой, она пошла в избу, и вроде не устала, а сердце шемит.

Вечером, уложив детишек спать, вышла на крыльцо. Над селом тишина, погода ясная, воздух тёплый, ароматный и даже сладкий от цветущей сирени. Солнце закатилось за берёзы, над порядком застыл мягкий предвечерний свет, и казалось, что ночь не посмеет наступить. Благодать-то какая! Всё радовало Надёжку в эти минуты: и ласточки в поднебесье, и суетившиеся у гнёзд грачи, а больше всего радовало, что огород пустовать не будет, что, бог даст, всё наладится, только бы Павел побыстрей приходил, а с ним они уж заживут.

Эти волнующие мысли не пропали и утром, когда она собралась на работу. В доме показало непривычно тихо: Григорий погнало стадо, Акуля молчала, Нинушка спала, спали и ребята, а Надёжке почему-то захотелось, чтобы они проснулись, помахали ручонками, чтобы радость к радости шла. Но вместо ребят на пороге догнала свекровь, спросила, опустив глаза:

— Чего на обед-то готовить?

— Мамань, придумай чего-нибудь...

Нет, радостное состояние Акуле не передавалось и не могло передаться. Когда проснулись ребята, она дала им по стакану молока; ни хлеба в доме, ни картошки. Чуть позже проснулась Нинушка. Акуля сменила у неё пеленки, накормила, а после повесила перед ней цветастую тряпицу — играй, милая, забавляйся. Потом взяла ведро и пошла за крапивой. За двор вышла, видит — внучата что-то делят, а Сашкин голосок так и звенит:

— Атарье, марье, зубре. Туре, юре, тормозе. Злато, брито, кумбарито — жук!

Пригляделась Акуля, а они из земли вчера посаженную картошку выкапывают! Перед Сашкой уже пяток картофелин лежит, а у Бориски только одна и наполовину изгрызенная... А Сашка картошку по-собачьи откопает и опять своё: «Атарье, марье...» Но так считает, шельмец, что считалочку заканчивает на себе. «Ах, мошенник! — подумала Акуля. — Ну, я тебе сейчас!»

— Ты что же это Бориску обманываешь?! — неожиданно крикнула она за Сашкиной спиной. Сашка начал оправдываться, а Бориска, показывая изгрызенную картофелину, заплакал и сквозь слёзы повторял и повторял:

— Мнямня, бабака, мнямня...

У Акули и у самой навернулись слёзы. Как тут ругаться будешь!

— Что же вы её сырую-то трескаете? — то ли укорила она ребят, то ли пожалела. — Пойдёмте, сварю, пока печь не остыла.

Акуля собрала в фартук картошку, но от крыльца вернулась:

— Чего тут варить — мелочь одна. Надо ещё накопать, чтобы уж всем на обед хватило.

Картошки набрали на маленький чугунок. Вместе с внучатами Акуля помыла каждую картофелину, дважды воду из чугуна слила, а когда поставила в печь, то ребята, как часовые, встали у кухни.

— Что вы тут топчетесь? — шумнула она. — Раньше всё равно не сварится, а хоть и поспет, то до обеда ничего вам не обломится. Вот придёт дед, маманька с работы прибежит, тогда все вместе обедать сядем. А сейчас надо потерпеть, мои дорогие!

И ребята дружно вздохнули.

НА СВЯТКИ ЗА ДРОВАМИ

К картошки хватило до Рождества.

К этому дню Савины доели последнее ведро, оставленное осенью на семена, и варить стало нечего. Акуля берегла под замком в чулане полмеры муки, но ни блинов, ни хлеба из неё не пекла — выходило слишком накладно, — а приспособилась варить жиденькую мучную поспу: ни суп, ни каша — не поймёшь что. Поспу чуть-чуть забеливали молоком и хлебали наперегонки. Есть стали только утром и вечером, благо дни короткие. Раз в несколько дней Акуля доставала из подпола две-три редьки, долго мыла, а тёрла из экономии нечищеными и раздавала всем по щепотке. Других овощей в доме не осталось: морковку ребята ещё с грядки потаскали, свёклу всей семьёй осенью ели вместо сахара, а квашеной капусты было немного.

Слушая на второй день Рождества радостные сообщения по радио, Григорий хотел поделиться с Акулей и Надёжкой, вызвать их на разговор, но ничего у него не получилось: сноха отмолчалась, а Акуля принялась ворчать:

— Сатанинские слова! Ещё не то наговорят. Не помнишь разве, как в прошлую зиму тре-

пались, что с германцем разделались! А теперь снова. Это сколько же они так говорить-то будут? До Страшного суда или пораней перестанут!

Григорий начал нетерпеливо ходить по избе, пытаясь разъяснить жене ситуацию, но та и слушать не стала:

— Говори не говори, а только тогда поверю, что германца одолели, когда Павел вернётся. Вот он-то расскажет, а без него веры никому нету.

— Мамань, разве будут по радио врать, — осторожно сказала Надёжка. — Это дело государственное, тут обмана быть не может.

— Государственное! Колхоз тоже не частный шинок, а что-то тебе против летошнего года раз в пять менее зерна-то дали!

— Не мне одной — всем так. Война!

— Война-то война, а для кого она матушка родна. Небось Фокин не переживает, сколько его сноха за год заработала. Ей бы лишь в колхозе числиться. Чего им не жить, когда он на днях вторую корову завёл! Вот она, война-то... А другие, такие, как Зинка-почтальонка, к примеру, не знают, чего детишкам в рот сунуть. Их у неё пятеро, а муж-то второй год как погиб!

— Нашла о ком говорить! — встрял Григорий.

— Она ещё десяток нагуляет!

— Это для тебя нагулянные, а для неё все свои, и каждого накормить надо.

— Хват-баба, не пропадёт... Говорят, уж пол-Рубки свела. Одна слободы дровами завалила. Всем нашим бабам пример подала! — Григорий будто ненароком взглянул на сноху.

— Нашей Надёхе тоже надо сани готовить... Правильно я говорю?

Надёжка хотела промолчать, но не сдержалась:

— Нужно будет, и пойду! От других не отстану.

— Во-во — правильно, дочка, думаешь, — поддержал Григорий. — Время-то не тяни, не жди, пока в слободах нахватаются. Сейчас самое время, зима-то нешуточная стоит! Ты прямо сейчас сходи к Зинке, не жди, что кто-то о твоих детях позаботится!

— Сейчас уж чего в темноте спотыкаться, — отговорила Надёжка. — Завтра днём поговорю.

— Увидишь её! Днём-то она, поди, отсыпается.

Хотя Григорий с Акулей настаивали, но у Надёжки к почтальонке душа не лежала. Она так и не стала своей за те пять лет, что прожила в Князеве, переселившись с семьёй откуда-то из-под Пензы. Особенно Зина заставила о себе говорить в последние полгода, хотя разговоры начались ещё весной, когда почтальонка вдруг стала в животе толстеть. Хотя прямо ничего не говорили, зато за глаза пересудов хватало: кто стыдил, кто подсмеивался... И нехорошо смеялись, в пору бы побить бабу, да только мужа нет, а поднимать руку на чужого человека кому захочется? Первое время Зина терпела, а потом из почтальонки ушла. Боялась порядком пройти. Пришлось председателю сельсовета Олегу Никодимовичу за почту браться. Зина-то каждый день носила, а он — раз в неделю, да и то не каждую. Но чаще секретаршу свою отправлял по дворам бегать. Едва в конце августа Зина родила мальчика, то старухи сразу вспомнили прошлую зиму, когда через Князево шли войска и квартировались по избам, и поспешили новорождённому прозвище приклеить: Военный.

— Нако-си, милая, отнеси Военному сухарик. Побалуай ангельскую душку! — говорила иная слишком сердобольная старуха где-нибудь на людях.

Первое время Зина переживала, краснела, а потом привыкла. Теперь что делала так, а что и не так — всё валила на своего Военного. Он теперь был у неё за всё ответчик. Когда в лес первой из села стала ходить, то никакой Фокин ей не страшен. Мол, для живой души старается. Что тут скажешь.

Надёжка пошла к Зине на следующий день, после работы. В избу вошла, а в ней моргасочка чуть-чуть горит, и младенец в люльке тихо плачет, видно, из сил выбился. Пригляделась, ребят на печке заметила: смотрят испуганно и друг к дружке жмутся.

— Где мамка-то? — спросила у старшего, а тот молча показал в кухню. — Зина, ты где?

— Кто там? — отозвалась хозяйка. Выглянув, она увидела Надёжку. — А я и не слышу, как ты вошла-то... Военный вон надрывается, а мне картошку тереть надо. Её давно надо в овраг выкинуть, а я хочу блинов ребятам напечь. Со

вчера вечером ничего не ели... Чего пришла-то?

Надёжке сделалось стыдно. Не зная, что сказать, она прислонилась к перегородке, пятерней сжала лоб, словно у неё вдруг разболелась голова.

— Чего молчишь-то? — вздохнула Зина. — Или случилось что? Так сразу говори!

— Да вот пришла попроситься, чтобы вместе ходить... Ты, говорят, в слободы дрова возишь.

— А тебе кто не велит?! Запрягайся в сани — и снега месить! Или страшно одной? А? Так это оттого, что голода пока не знала. Он как прижмёт, то о всяком страхе забудешь, ползком будешь ползти, лишь бы ведёрко картошки добыть... — Зина замолчала, исступленно тёрла и тёрла полугнилуую картошку, не обращая внимания ни на гостью, ни на плачущего младенца.

Когда Надёжка, перестав спрашивать хозяйку, взяла из люльки мальчонку, завернула его в сухую тряпку и прижала к себе, согревая, то чуть заметная радость народилась на иссушенном Зинином лице.

— Не обидишься, если покормлю? — робко спросила Надёжка, а Зина улыбнулась:

— Покорми, коли богата. Меня-то он всю иссосал.

Надёжка села на лавку, положила младенца на руку и дала ему грудь. Губки у тяжело и часто дышавшего ребёнка обметались гнойничками, под носиком краснота, а в непокрытой головке — короста. Хотела отругать Зину, пристыдить, но не решилась, язык не повернулся.

— Ты его особо-то не балуй, а то он после мне житья не даст! — напомнила хозяйка. — Девке своей оставь.

— Помаленьку отучаю её, да и привередливая она... Твой-то ишь как впелся!

Зина подошла к Надёжке, взяла младенца:

— Давай-ка его, а сама ступай, собирайся, если хочешь со мной идти... Сани возьми, пилу, верёвку и топор захвати — не помешает. — Когда, застегнувшись, Надёжка пошла к выходу, Зина остановила: — Чулки-то подлинней надень! По снегу ползать — радости мало.

Первым делом, вернувшись домой, Надёжка достала из печи чугунок тёплой воды, разделась до пояса и с золой вымыла грудь, которой кормила Зининою младенца. Ещё когда он сосал,

в ней родилась брезгливость, а пока шла домой, то казалось, что грудь огнём горит и чешется, чешется... А вымыла, и перестала чесаться, и брезгливость прошла, но когда решила перед дорогой покормить Нинушку, то вспомнила чужого ребёнка, и опять тело зачесалось. Так спокойно и не покормила. А тут ещё, узнав, что сноха собирается в лес, свёкор со свекровью засуетились, под руку говорят, что нужно и не нужно, и каждый своё.

— Штаны мои надень — как на печке будешь! — пристал Григорий.

— Не слушай его, — подсказывала Акуля. — Мыслимое ли дело, чтобы баба в штанах таскалась?! На поясницу шаль повяжи! Этим и спасёшься... Долго-то не ходи. Если не получится — возвращайся. Смотри, от Зинки не отставай, а то замёрзнешь. В снег ткнёшься — и всё! Ищи тебя потом.

Пока старики готовили Надёжку, ребята насупленно молчали, а когда она собралась уходить, Бориска разревелся.

— Ты что, мой хороший! — начала успокаивать его Надёжка. — Я, бог даст, поесть что-нибудь принесу! Мнямню хочешь? — Бориска кивнул, а она улыбнулась: — Тогда и не плачь. Видишь, Сашка-то какой герой у нас!

Сашка от похвалы горделиво посмотрел на брата, но тоже скуксился.

— Не ходи, мамка, — сказал он как приказал, готовый заплакать. — Волки загрызут, вот увидишь! Пускай дед идёт, у него мослы старые — его не тронут!

Григорий начал искать, чем бы запустить в Сашку, а Надёжка под шумок вывалилась в сени, вынесла к саням инструменты, впряглась в верёвку и от сарая сразу пошла наискось, стремясь обойти Фокиных стороной. Ко двору Зины подошла, а она уж ждёт, руки в боки:

— Пилу-то взяла?

— Как велела...

— Зря... Я тут подумала и решила двуручную прихватить: вдвоём будет спорей работать, а то одна-то смыжешь-смыжешь — все руки отмочалишь. Теперь мы горы свернём! — чувствовалось, Зина подружилась с хорошим настроением, будто и не страдала от жизни, а цвела от неё. — Чего молчишь-то? Или недовольна чем?

— Да что говорить-то?.. Как-то не по себе.

— Фокина боишься? Так он не тронет — ещё по первому снегу ему бутылку поставила. Самогонка, правда, из гнилья, да где ныне хорошего-то вина найдёшь? Ну, пошли, что ли!

Не разговаривая, они вышли мостом за село и запетляли вдоль Максаковой лощины. Сан-ный след хотя и занесло позёмкой, но чувствовалась твердь наезженного пути, и ноги бежали сами собой. Чем выше Надёжка поднималась из низины, тем становилось страшнее: лунная даль расширялась, бежала по холмам, и нигде ни огонька, ни дымка — дремучая тишина кругом. Только снег визжит под ногами, и, казалось, этот скрипучий визг заполнил всю землю от края до края. Стараясь идти осторожно, она еле-еле поспевала за Зиной, а та как заводная: только солома в худых валенках мелькает! До лесу добежали, у Надёжки и дух вон. Отдышаться бы, да Зина подгоняет, начала снег отаптывать около ясеня, шепчет:

— Давай вот этот смахнём. Стоит косо — хорошо падать будет.

Надёжка ничего не ответила, молчаливо соглашаясь, и — за пилу. То ли в горячке, то ли не заметила как, но показалось, что дерево спилили быстро, будто оно само завалилось. А как хрястнулось, обе замерли, только сердце колотится — не унять. И не успели затихнуть потревоженные сучья, где-то в стороне раздался такой же треск падающего дерева, только глуше, и от далёкого треска Надёжке сделалось веселей, словно рядом трудился близкий человек и вместе они делали общее дело. Чуток прислушавшись и оглядевшись, они выпилили из дерева три бревна, волоком вытащили их на опушку, потом на дорогу и уложили на сани, увязали.

— Полдела сделали, — утерлась Зина, — давай ещё одно завалим.

Спилили дерево и для Зиной, размахали на части, макушку и сучья воткнули в снег и, уложив и увязав на санях брёвна, накатанной дорогой, вившейся вдоль опушки, вышли к шоссе и потащились по нему, увязая в перемётах. Едва вошли в Пушкарскую слободу, как стая псов окружила баб, чуть ли не за пятки хватают.

— Счас я вас... — Надёжка схватила топор и замахнулась на них, но, отскочив, те изошли хрипотой и кинулись в новую атаку.

— Не обращай на них внимания, — сказала Зина, — так они быстрее отстанут... У них, ока-янных, свадьбы сейчас... И война им нипочём!

Собаки и правда скоро отстали, и они прошли всю Пушкарскую слободу молча. Только когда дотащились до базарной площади и дорога пошла под уклон, к Проне, Зина предупредила:

— На раскатах не зевай, а то потом собирай брёвна в снегу, куёхтайся с ними.

До реки через Затинную слободу сани будто сами бежали — Надёжка едва попевала за ними, когда же перед мостом снова по-настоящему впряглась, то и усталости будто не чувствовала. А как от моста поднялись чуток, то новая слобода началась — Нижняя. Вошли в неё, а что дальше делать — Надёжка не знает. Спросить бы у Зиной, но та, как загнанная лошадь, дышит с хрипотой и пар изо рта струёй бьёт... За церковью свернули в проулок, выехали на соседнюю улицу, и Зина остановилась у темнеющей окнами избы, перевела дыхание.

— Здесь старик одинокий живёт... Я уж как-то возила ему дровишек... Дай-ка ещё спрошу, может, возьмёт. — Зина постучала в окно и, пока дожидалась ответа, сказала Надёжке: — Ты, в случае чего, не обращай на старика внимания... Он такой, паразит, липучий.

Не открывали долго. Надёжка уж хотела сказать Зине, чтобы постучала ещё, но тут за дверью раздался глухой голос:

— Кого нелёгкая принесла?

— Дядя Серафим, это я — Зина из Князева... Дровишек с подругой привезли... Не возьмёшь?

— Пилёные?

— Нет, бревнами.

— Тогда распилите и в сарае сложите, а мне на холоду стоять неохота... И без меня управитесь.

Старик так и не вышел на улицу, но Зина знала, что надо делать... Они распилили брёвна, перекололи кругляши и сложили в поленицу: две пилы в длину, одна в высоту и полпилы каждое полено. Если так сложить, то будет кубометр дров, а по-местному — рядок. Сейчас до рядка не хватало чуть-чуть.

— Знать бы — лишнее брёвнышко прихватили! — вздохнула Надёжка, но Зина не отозвалась.

Они ещё чуток помолчали, отдыхая и приходя в себя, и Зина стала собирать инструменты, увязала их на саях, чтобы не сползали. Надёжка хотела спросить о расчёте за дрова, о том, когда старик будет расплачиваться, но не спросила. Только когда уж подошли к Проне, притворно спохватилась:

— Ой, а что же твой Серафим не заплатил-то?

Зина неожиданно рассмеялась:

— Больно ты, девка, скорая... Думаешь, всё так просто? За ведро гнилья-то знаешь как наломаешься? И это ещё ничего бы. А то в следующий раз придём, а дровишек-то в рядке убавится. Охапки две-три хозяин приберёт, а потом доказывай... А доказывать будешь, так и вовсе пошлёт куда подальше. Не мы одни такие хваткие. Считай, пол-Князева дрова возит, да ещё в других местах не спят. Так что... — Зина недоговорила, а Надёжка больше ничего и спрашивать не стала. Только перед самым Князевом остановилась, шепнула:

— Зин, я чего придумала-то?..

— Что такое?!

— В следующий раз-то так подгадаем, чтобы сразу рядок привезти, даже с гаком! Старый рядок доложим, новый поставим, чтобы за два рядка получить!

— Так-то бы хорошо, да разве рядок допрёшь, пусть и вдвоём? Третью часть-то тянешь — сил нету, а то... — засомневалась Зина.

— А куда нам спешить... Ночь-то большая, мы потихонечку да не торопясь, зато через раз будем по ведру домой привозить... Поди плохо! — Надёжка говорила и говорила, а Зина будто и не слушала. Вскоре она замолчала и поймала себя на мысли, что говорила для себя, а не для Зины: успокоить хотела, да только покоя как раз на душе и не хватало, и чем ближе было Князево, тем делалось тревожней, обида подступала. Ведь её ждут с едой, а она плетётся с пустыми руками... Попробуй объясни!

Договорившись встретиться через ночь, Надёжка попрощалась с Зиной, пошла к себе и увидела в замёрзших окнах едва заметный свет... Пока убирала сани и инструмент, из избы вышел Григорий, стал помогать. Закрыв сарай, он спросил, обжимая на животе телогрейку:

— Картофь привезла?

Надёжка ничего не ответила, пошла в избу, а свёкор в сенях спросил ещё раз:

— Что молчишь-то? Картофь, спрашиваю, привезла, ай нет?!

— В другой раз обещали заплатить, — уже в избе тихо ответила она, а Григорий повысил голос:

— Как это в другой раз? Ты хвостом-то не верти, договаривай!

— Не кричи — ребят разбудишь! — подала из-за перегородки голос Акуля. — Аль по-хорошему спросить не можешь! Надьк, расскажи всё по порядку.

Она рассказала, но, похоже, не особо поверили ей... Пока рассказывала, присевши на приступку, потихоньку отогревалась и не могла отогреться... Даже больше. Показалось, что там, в лесу и на заснеженном большаке, было теплее, душу грело что-то необъяснимое, а тут, в избе, на сердце лежал холод и будто огнём горели одеревеневшие на морозе ноги. Пока она снимала мокрые обмотки и лапти, Акуля легла досыпать, а Григорий залез на печь и оттуда наблюдал за снохой. Надёжке хотелось есть, но не нашлось сил без приглашения заглянуть в печь или поискать что-нибудь в кухне на лавке. Она так и легла голодной, только напилась холодной воды и никак не могла отогреться. До самого рассвета, когда нужно идти на работу, ей снился свадебный стол и Павел, кормивший из своих рук.

Прошло два дня, как Надёжка ходила с Зиной. В ночь надо вновь собираться, хотя и не было особого желания. Она, наверное, и не пошла бы, но, раз обещала, надо. После работы зашла к Зине, напомнила ей и пошла собираться. Старики ни о чём не расспрашивали, никак и ничем не помогли. Только Сашка с Бориской вертелись рядом: Сашка помогал завязывать на лаптях верёвки, а Бориска робко заглядывал ей в глаза и недоверчиво спрашивал: «Мнямня?» От участия детей, от их неуклюжей, но приятной помощи хотелось плакать. Плакать хотелось и от молчания стариков, говоривших своим насупленным видом о подозрении, словно она не в лес собиралась, а на гулянку. Надёжка поняла их мысли, но никак и ничем не выдала себя, только когда собралась уходить, так сказала Сашке, словно

Григорий с Акулей были далеко и не могли услышать:

— Вы уж бабушку с дедушкой слушайте, они плохенькие — им помогать надо!

Григорий от её слов закричал, заворочался на печи, но ничего не ответил, а едва сноха вышла из избы, следом выкатился в сени и захлопнул за нею дверь. Мол, на тебе! Надёжка постояла на крыльце, послушала, как свёкор вернулся в избу, зачем-то толкнула запертую дверь и пошла в сарай, вывезла сани, взяла пилу, топор, верёвку и пошла к Зине. К дому подошла, а та уж у крыльца стоит:

— Что так долго?

— Ребята раскапризничались.

— Ладно, потопали...

За село вышли, а в поле позёмка шуршит по-змеиному, вокруг ног кольцами вьётся. Но такая погодка в радость. Самая подходящая погодка. Пока шли через перемёты, пилили ясени и укладывали брёвна на сани, Надёжке казалось, что кто-то наблюдает за ними, и она оглядывалась, смотрела в темноту, но ничего не замечала, а только выбрались на шоссе, как увидела догоняющую лошадь... Лошадь уже рядом, и Фокин с саней слезает...

— Здорово поживали! — неожиданно громко раздался его голос, а они молчат, не знают, что сказать.

Хмыкнув, Фокин подошёл к Надёжкиным саням, оглядел брёвна, ощупал их, провёл рукой по срезам. Молчком выдернул топор, расщёк веревки и спихнул брёвна в снег. Надёжка замерла, а Зина, охнув, подбежала к леснику, оттолкнула от саней, заголосила:

— Ты что же, хрен старый, делаешь-то? Рехнулся, что ли?!

— Помалкивай, девка, — целей будешь!

— Ты кто такой, чтобы молчать?

— Так-то?! — Фокин поднял валявшийся топор, подошёл к Зининым саням и у неё порубил веревки, раскатал по снегу брёвна и вернулся к своим саням: — Больно разговорчивые стали! Чтобы на глаза мне больше не попадались, сучки военные! Ишь, моду взяли! — Фокин хрястнулся в кошевку, стеганул вожжами лошадь, а Зина принялась ругаться вдогонку. Ругалась так ловко, что Надёжка рассмеялась.

— Что ты грохочешь, когда плакать надо! — цыкнула Зина.

— Да ты любого мужика руганью перешибёшь! Где и научилась-то?

— Невелика премудрость — матерком ругаться... Что с дровами делать будем?

— Не знаю...

— А кто знать-то будет? Начинать верёвки распутывать, может, из обрубков свяжем кое-что.

— А Фокина-то разве не боишься? — удивилась Надёжка.

— Пускай он страшится — он мою самогонку жрал, а не я его!

— Так мы дрова в слободу повезём?

— А то куда же! Здесь бросать?

Уверенность Зины передалась Надёжке, у неё прошёл испуг от встречи с Фокиным... Увидев его, она сперва горестно решила, что всё, отъездила в лес, и подумала, что опять придётся оправдываться перед свёком, но теперь верилось, что всё обойдётся, довезут они сегодня дрова до места, разживутся чем-нито, порадуют детишек и стариков.

Лыковые веревки оказались слишком грубыми, чтобы из них можно было связать что-нибудь подходящее, но два недлинных конца всё-таки скрутили: всё лучше, чем ничего. До Пушкинской слободы добрались, а в слободе будто всё вымерло, даже собак не слышать, и чудится, что за каждым домом кто-то прячется. До базара ехали, боясь словечко обронить. А как покатались сани к Проне, то и на душе легче сделалось, чуток потерпеть осталось — за мостом уж Нижняя слобода змеится порядками и один впереди некрутой подъём. Только бы сил хватило от моста выкарабкаться... Чуть ли не ползком ползли, и кости, казалось, под верёвкой трещали. Остановились дух перевести, а, глядь, впереди лошадь чернеет и кто-то навстречу от саней идёт. Поближе подошёл — Фокин! Остановился рядом.

— Я вам что говорил?! — и к саням, развернул, толкнул назад к Проне. Сани на мост не попали: одни скатились на лёд, другие около моста нырнули в кювет, перевернулись, а брёвна вразбег...

— Надька, помоги! — прохрипела Зина и кинулась на Фокина, сшибла с ног. — Поташили, хватай его за ноги!

Куда и зачем тащили лесника, Надёжке было невдомёк, но раз подруга что-то надумала — надо помочь, нельзя одну оставлять... А Зина что-то бормочет, и не понять: то ли ругается, то ли подбадривает. У моста выволокли брыкавшегося Фокина на лёд, а лесник, похоже, и не упирается особенно, будто и тут решил поиздеваться над бабами. И только когда подтащили к чернеюшей проруби, перевернулся ногами вперед.

— Дай ему, Надьк, пинка, чтобы не кочевряжился! — попросила Зина и страшно заругалась, и толкала Фокина коленями, локтями, вцепилась в воротник полушубка, и Фокин неожиданно выскользнул из него и этим ещё больше озлобил Зину, а Надёжка... Надёжка всё более не понимала происходившее, и только когда лесник упёрся ногами в край проруби, то сердце у неё, казалось, оборвалось... Фокин словно почувствовал, что творится у неё на душе, просипел:

— Надя, не губи, прости — всю жизнь за тебя буду Богу молиться...

Не дожидаясь от них пощады, воспользовавшись коротким замешательством, Фокин вернулся, подножкой сбил Зину на снег и на четвереньках пополз от проруби, потом вскочил на ноги, подхватил валявшийся полушубок, чуть дальше поднял шапку и припустился к лошади.

Бабы догонять его не пытались, обе сидели на снегу и не могли отдышаться. Когда чуток успокоились, Надёжка спросила:

— И вправду, что ли, хотела утопить его?

Зина ответила не сразу, повздыхав, призналась:

— Надо бы этого гада под лёд пустить, да... — Она недоговорила, поднялась на ноги. — Пошли, девка, брёвна собирать! Ночь у нас с тобой сегодня очень весёлая, кому рассказать — не поверят!

Они вытащили наверх брёвна, сани; у Надёжкиных саней один копыл оказался сломанным, она подбила его топором, но полоз всё же шатался.

— Не горюй, — успокоила Зина, — впереди дорога ровная, доберёмся, осталось немного.

Как и в прошлый раз, Серафим долго не открывал, а, скрипнув дверью, недовольно поворчал, выглянув из черноты сеней:

— Что зря тревожите? Распилите сначала, тогда и стучите! — и хлопнул дверью.

— Не лучше Фокина. Такой же гад! — прошептала Зина. Прошептала зло, будто Серафим чем-то обидел её.

Распилив брёвна и ошупкой сложив дрова в сарае, Зина и Надёжка повеселели: и прежний рядок доложили, и новый поставили — не зря столько мучений приняли. Зина сходила за хозяином, тот опять долго не выходил, а когда сошёл с крыльца, то и в темноте по согнутой спине и привычной шее было видно, что он чем-то недоволен. Сухой и невысокий, а ноги в широких валенках переставлял устало, будто пришёл откуда-то издалека. Он четвертями измерил длину, прислонился животом к дровам, измеряя высоту поленницы, сказал негромко:

— Надьсь по дворам милиционер ходил, вынюхивал что-то... Так что теперь, если доведётся, в лесу пилите, а здесь нечего собак дразнить!

— Как же их доведёшь-то тогда?! — удивилась Надёжка. — Разбегутся сани на раскате, соберай потом поленья в снегу?!

Старик ничего не ответил. Ещё раз смерил рядки и позвал за собой:

— Пойдёмте в избу. — Но в сенях остановил: — Пойдите здесь...

На этот раз вышел быстро. Высыпал картошку из вёдер в подставленные мешки: сперва Зине, потом Надёжке. Зина начала картошку ощупывать. Глядя на неё, и Надёжка сунулась в мешок. Картошка была не мороженой, твёрдой и тёплой. Щупая её, она почувствовала, как от радости дрожат пальцы. Вынесла картошку к саням, аккуратно уложила и накрыла хохлом от мешка. Зина в сенях задержалась и, отнекиваясь, о чём-то говорила с Серафимом. Наконец вышла к Надёжке, сказала, словно извинилась:

— Ты иди, догоню...

— Что случилось-то?

— Иди, иди! — раздражённо повторила Зина. — Сказала, догоню!

Дверь захлопнулась, Надёжка осталась одна. Постояла-постояла перед крыльцом и тихонько пошла к мосту. За церковью остановилась, оглянулась. Нет, не видно Зины, а Надёжка только теперь поняла, для чего осталась Зина у

Серафима. Действительно, сколько можно ждать эту Зину! Надёжка постояла ещё чуток и поплелась в Князево. К базару подошла, и вдруг мысль стрельнула: «Я же картошку поморожу!» Быстро скинула фуфайку, сняла кофту и укрыла ею мешок. Собралась идти дальше, слышит — кто-то из-под горы поднимается. К забору на всякий случай прижалась, а как человек поравнялся, то и гадать перестала: «Конечно, Зина!» К ней навстречу заторопилась, а та в сторону от неё.

— Зина, это я!

— Ой, Господи, всё ждешь?!

— Сама же сказала, что догонишь.

— Да мало ли что скажу... Думала, догадаешься, а ты как девчонка.

Надёжка немного помолчала и осуждающе спросила:

— Чего в этом Серафиме нашла? Старый ведь он.

— Думаешь, под таким крючком лежать охота?! Он ведь, паразит, знает, что у меня детишек куча и что им жрать нечего, вот и пользуется этим!

— Всё равно нехорошо...

— Ха! Тебе можно говорить, — встрепенулась Зина, — у тебя мужик живой, а моего где искать? Где, спрашиваю?! Молчишь... Вам всем чего не говорить... Тут намедни Олег Никодимыч опять вызвал в сельсовет. Спрашивает: «Будешь почту носить или нет?» — «Нет, не буду. Люди меня бояться стали, хоронятся, будто им похоронки сама выписываю!» — «Ладно, тогда иди в колхоз работать, — говорит, — нечего у Советской власти на иждивении сидеть. Если в ближайшие дни на работу не соизволишь явиться, то выселим». — «Не выселишь, я детишек государству ращу!» — «Государство о твоих детях позаботится, — стращать начал, — а на территории нашего сельсовета тебе никто не позволит вредные примеры сеять!» — Зина остановилась, ткнулась лбом Надёжке в плечо, затряслась всем телом.

— Что ты слушаешь его, — вздохнула Надёжка, — он сам-то всю жизнь не работал: то в комбедо писарем был, то, как колхоз открыли, в хате-лаборатории сидел, а теперь вот в сельсовет перебрался... Кого бы дельного послушать, прости Господи.

За Пушкарской слободой Зина неожиданно рассмеялась.

— Что с тобой? — удивилась Надёжка, а подруга уж хохотать начала. — Говори же, говори!

— Ох, жиня, — успокаиваясь, вздохнула Зина. — Знаешь, что крючок-то сказал, когда уходила? Не знаешь, конечно. Так слушай: «За доброту твою, — говорит, — даю тебе дополнительно полведра картошки. Самую крупную отобрал... — И добавляет: — Передай своей товарке, — тебе, значит, — что, если она у меня вот так-то останется, — целого ведра не пожалею!» — Зина тоненько засмеялась, а Надёжка стала плевать:

— И не говори больше о нём, не напоминай, а то стошнит... Приду, деду расскажу — он эту Иуду сегодня же ночью сожжёт, из огня не даст выскочить!

За разговорами бабы не заметили, как до Князева добежали. Через мост проскочили и начали прощаться, неожиданно для самих себя крепко обнялись, а Зина опять прослезилась. Надёжка же молчит — душа заткнулась от чужих слёз, и не хватило сил говорить ненужные слова, а нужные не находились. Расстались, словно сёстры, но только разошлись, и сразу она забыла сегодняшнюю нескончаемую ночь, захотелось быстрее домой, опустить мешок с картошкой посреди избы: нате, мол, ешьте! Не зря ваша сноха столько мучений приняла!

Как и в прошлый раз, она ожидала увидеть в избе слабый свет, заранее удостовериться, что её ждут, думают о ней... Но нет: изба угрюмо чернела, и Надёжке уж не хотелось подходить к ней, стучаться и ждать, когда откроют. Трижды она стучала в оконную раму, прежде чем услышала хлопнувшую в сенях дверь.

— Кто там? — еле слышно спросила Акуля и, когда сноха отозвалась, громыхнула задвижкой, распахнула дверь: — Опять никак пустая?!

После обжегшего вопроса она сразу хотела отдать картошку свекрови, чтобы та убедилась, что не зря их сноха пропадала, но не отдала мешок, сама отнесла и положила посреди избы и, как гостя, села на лавку в красном углу. Следом в избу вернулась Акуля, и Григорий спросил у неё с печки:

— Принесла она чего или нет?

— У неё спроси! Ей со мной зорно разговаривать!

— Надька, что молчишь-то? — спросил Григорий.

— Разве в словах дело... Зажгите свет — сами увидите. Что попусту языком трепать.

— Сейчас так зажгу, что три дня сиделку в воде отмачивать будешь! Ты спичек-то привезла, чтобы свет палить?!

— С вами не соскучишься... Будто мне самой охота попусту ночами не спать.

— Так бы сразу и сказала, — смягчился Григорий и начал слезать с печи. Потом зашуршал спичками и, боясь сломать тоненькую половинку, осторожно чиркнул по коробку, зажёл моргаску и, слюнявя обожжённый палец, подошёл к мешку, тяжело опустился на колени и зацепил пригоршней несколько картофелин. — Надёха, мать твою в кривую ногу, настоящая картошь!.. И крупная, зараза! Мать, иди сюда, посмотри — картошь, натуральная картошь! Ах, Надёха, ах, молодец, дай-ка я тебя расцелую! — Григорий хотел обнять сноху, но Акуля пуганула:

— Куда лезешь, старый, не видишь, на ней лица нет, не продохнёт девка!

— А ты какого... стоишь?! Накорми её! Или сама не догадаешься — учить надо!

Не дожидаясь жены, Григорий пошёл к печке, взял ухват, отбросил заслонку и начал доставать из печки чугуны, но Акуле его рвение показалось оскорбительным.

— И-эх, нос-то суёшь в бабьи дела. Цепляешься за что не надо! — насмешливо отчитала она Григория.

Тогда он полез на печку, нашёл опорки и понёс снохе.

— Вот, накось, Надёха, — опустился он на колени и стал помогать развязывать веревки и снимать лапти. Её это смутило.

— Папань, зачем... Я сама! — отстранилась она, а пока разувалась, Акуля успела налить миску чуть тёплой поспы.

Но не еда сейчас грела Надёжку, а неожиданное внимание стариков. Внимание это удивило и обрадовало. Сперва ей показалось, что они своим ухаживанием смеются над ней, но, приглядевшись, заметила, что всё делается искренне, старательно, наперегонки друг перед дружкой, словно добытое ею ведро картошки всколыхнуло в стариках

что-то такое, отчего нельзя вести себя по-иному... Едва она поела и заглянула к Ниношке в люльку, Григорий подхватил сноху под руки и повёл к кровати:

— Спи ложись, отдыхай, а за девкой мы последим. — И сразу напустился на Акулю: — А ты чего рот раззявила? Печь затапливай и картошь вари!

— Рано ещё...

— Затапливай, говорят! — и Надёжке: — А ты, дочка, спи спокойно... На работу разбужу, спи.

Надёжке от такого внимания спать расхотелось. «Эх, сейчас бы письмо Павлу написать, рассказать ему обо всём...» И вслед за этой отчетливой мыслью она почувствовала, что проваливается в тёмную, мягкую яму... Сон сковывал тело, а далекая, едва различимая мысль билась и билась: «Завтра напишу, обязательно-обязательно...»

ПОДАРОК С ФРОНТА

Жизнь пошла самотёком, конца и края этой напасти не видно. Даже и наступившая весна не радовала, а нагоняла тоску. Да и как не тосковать, когда картошки даже на посадку не было. Григорий дважды посылал сноху в Нижнюю слободу копать ночами огороды, и дважды она приносила по полведра полугнилых очисток. И всё. Никакого просвета. Тогда Надёжка принялась за свой огород, но Григорий не разрешил копать. Зачем, когда сажать нечего? Только последние силы разжижать. А их едва-едва на работу в колхозе хватало. От непосильной работы и забот Надёжка чувствовала, как не по дням, а по часам уходят силы. Бывали дни, когда с утра до вечера крошки во рту не валялось. От голода ноги начали пухнуть.

Когда пахали дальние поля, то домой ночевать не ходили — силы берегли. Или договаривались и отправлялись по очереди. Как-то Надёжка ночь в поле отдежурила, а следующим вечером побежала домой. Сперва-то хотели все вместе, да поле не успели допахать, не вышло по задуманному: несколько баб остались ночевать возле коров и быков, а остальные в село двинулись. Сначала ходко шли и впереди всех

— Надёжка, но мало-помалу она стала отставать. Бабы тоже пошли медленно, но она их подогнала: «Чего со мной колготиться? До темноты сама доберусь не спеша. Если бы не мозоль на ноге, ещё неизвестно, кто бы кого ждал!» Не было у Надёжки мозолей, а соврала потому, что стыдилась признаться в усталости. И она совсем отстала. Едва перешла шоссе, приткнулась на обочине, раскинулась на молодой траве, а в голове всё плывёт, кружится, перевёртывается: деревья растут из неба, вместо облаков — перелески и чьи-то рессорные дрожки катят по шоссе вверх колёсами, а жеребец бежит по воздуху... Но вот утих грохот колёс по булыжнику, дрожки съехали на грунтовую обочину и остановились. С них кто-то спрыгнул и подошёл к ней.

— Что с вами, гражданочка? — услышала она далёкий-далёкий голос и, взглядевшись, вдруг увидела, что всё вокруг сделалось настоящим. И мужик стоял перед ней настоящий: в обтянутом кителе, с бритой головой и взгляд имел свирепый.

— Здравствуйте, — он чуть заметно улыбнулся, — я — Бирюков, первый секретарь райкома партии. Что с вами? Вам плохо?

— Чтой-то голова закружилась... — стыдливо призналась Надёжка.

— Давно не ели? — спросил Бирюков и, не дожидаясь ответа, перекинул со спины на живот полевую офицерскую сумку, достал что-то завёрнутое в хрустящую бумажку. — Вот возьмите, подкрепитесь.

— Дяденька, что это?

Бирюков грустновато улыбнулся:

— Шоколад, милая... Очень полезен. А вы откуда? Может, вас подвезти?

— Из Князева. Слыхали?

— Как не слышать! Колхоз имени Калинина!

Она радостно кивнула, будто встретила земляка, и, всё ещё не решаясь попробовать шоколад, от которого плыл удивительно вкусный запах, поднялась с земли: Надёжку более радовал не гостинец, а возможность быстро добраться до дому. В дрожках она всё-таки не утерпела и чуть-чуть откусила шоколада, хотя перед этим решила весь отдать ребятам. Потом ещё разок торопливо приложилась, словно шоколад могли отнять. В этот момент она за-

была о детях, обо всём на свете, потому что не хватило сил противиться голоду. Минуту ли, пять ли Надёжка находилась в необыкновенном состоянии, когда показалось, что рождается заново. Она чувствовала, как светлеет голова, как тело наливается силой. Ей хотелось ещё откусить от помятой плитки, но теперь она окончательно контролировала себя, и только одна мысль о детях билась в сознании: «Обязательно довести до ребят эту сладость. Самой умереть, а довести!»

Они почти догнали ушедших вперёд баб, и, испугавшись, что они увидят её, она попросила:

— Остановите...

Осадив жеребца, Бирюков спросил, явно сожалея о чём-то:

— Как ваша фамилия, гражданочка?

— А на кой она вам, дяденька?! — усмехнулась Надёжка и спрыгнула с дрожек, еле удержавшись на ногах.

Бирюков усмешливо покачал головой, сел поудобней и отпустил поводья. Дрожки унеслись, а Надёжка схоронилась в зеленеющих придорожных кустах, боясь быть замеченной бабами.

В доме с её приходом все оживились. Огня в избе не зажигали с половодья, но тут не удержались, запалили несколько лучин и при колеблющемся свете, от которого уже успели отвыкнуть, Надёжка разделила на пятерых остатки шоколада. Ребята проглотили его сразу, зато старики удовольствие растянули, а Акуля даже убрала крошечный кусочек к завтрашнему чаю. От неожиданного угощения все разговорились, повеселели, только Григорий оставался мрачным, и, когда веселье схлынуло и все улеглись спать, он сказал в темноте задним числом, ни к кому не обращаясь:

— Живут же люди...

Если бы Григорий знал, что в ближайшие дни жизнь его круто изменится, он, наверное, не стал бы завидовать, тем более что и в его жизни бывали дни, когда он жил на зависть другим. Но давно прошли те времена.

Через два дня после встречи с Бирюковым Надёжку вызвали повесткой в военкомат. Повестку принесла бывшая секретарша Олега Никодимовича, которую Егорка Петухов, придя к власти, окончательно выжил из сельсове-

та. Полненькая и сытая новая почтальонка остановилась у дома Савиных и спросила у играющих около сарая ребят:

– В этом доме Надежда Савина живёт?

– Маманьки нет, она на работе, – отозвался Сашка, – пошла коровам хвосты крутить!

– А ещё старшие есть?

– Вон бабка на бахчах возится, – недовольно кивнул Сашка куда-то за угол, будто Акуля занималась нестоящим делом.

– Позови её...

Сашка юркнул в калитку и вскоре вернулся с Акулей. Та молча устала на почтальонку, успешную подойти к окну и разглядывавшую своё отражение в стекле.

– Вот вашей дочке повесточка... В военкомат вызывают, – сказала почтальонка, не глядя на испуганно попятившуюся Акулю.

– Ой, – выдохнула старуха, – думала, что с сыном случилось... Всё сердце оборвалось.

Пока Акуля приходила в себя, почтальонки след простыл, а на старуху вдруг навалились обычные сомнения, вызываемые у неё любой казённой бумагой. Истолковав всё по-своему, она побежала в избу и бухнулась у двери на пол.

– Дед, дед, ты где? – позвала она и запричитала: – Это что же такое на свете делается-то? Сноху-то нашу сношеньку на фронт забирают!

Молчавший на печи Григорий сразу отозвался:

– Что вопишь, мать твою в кривую ногу? Чего, спрашиваю, глазищи-то закатали?

– Закатишь, – взвизгнула Акуля, – когда последнюю кормилицу уведят.

– Дай сюда, – спустившись с печи, выхватил он повестку, – и замолчи, кому говорят! Очки мне найди. Грамотей какой-то нацарапал – ни хрена не разберёшь.

Повестку Григорий прочитал быстро, но никак не мог сообразить, к чему бы эта бумага, что за ней кроется. Всё-таки растерянность от жены скрыл и сказал, словно о нестоящем:

– Чепуха. В санитарки будут агитировать. Всем бабам, какие помоложе, такие писульки присылают.

Разговор на этом закончился, и Акуля вроде бы успокоилась, отправилась на бахчи, а Григорий не находил себе места. Он ещё и ещё читал повестку, силясь представить, что спрятано

за простыми с виду словами, и не мог догадаться. Лишь одно знал точно: что-то с Павлом случилось. Какая-то беда нависла над сыном, а сразу говорить не хотят. Подгоняемый этими мыслями, Григорий незаметно ушёл из дома и отправился в Панькин Угол, где Надёжка сеяла овёс. «До вечера далеко, – думал он, – ещё успеет девка до военкомата добежать». Он и повестку прихватил с собой на всякий случай. Как оказалось, правильно сделал, и сноха с поля отправилась в Пронск.

Перед военкоматом Надёжка умылась у колодца, пригладила волосы и, когда отворила обитую дерматином тяжёлую дверь, то ног под собой не чувствовала от волнения.

– Вот, – подала она повестку дежурному военному с двумя маленькими звёздочками на погонах; форма показалась Надёжке необычной, никогда ранее она не видела такую.

Тот заглянул в бумагу и, прихрамывая, повёл Надёжку за собой по коридору. Перед нужной дверью остановился, заглянул в кабинет:

– Товарищ майор, к вам по повестке.

– Пригласи, – услышала она негромкий приятный голос из-за двери.

– Заходите, – подтолкнул Надёжку лейтенант.

Она вошла. За столом у зарешёченного окна увидела красивого розовощёкого военного постарше возрастом, чем первый, и нерешительно остановилась.

– Давайте вашу повестку! – попросил майор и, заглянув в неё, вышел из-за стола и торжественно подал культяпую руку, на которой Надёжка успела разглядеть два пальца: – Поздравляю, Надежда Васильевна! Ваш муж офицером стал! От него на ваше имя получен денежный аттестат. Крупную сумму переслал. У вас дети есть?

– Трое.

– Вот видите – не забывает их отец... У вас с собой какой-нибудь документ, удостоверяющий, извините, вашу личность, есть?

– Нету...

– Тогда вам придётся побывать в сельсовете или в правлении вашего колхоза и взять справку о том, что вы и есть Савина Надежда Васильевна. Ещё раз извините. Надеюсь, вы поняли меня?

Она выскочила из военкомата обиженной:

получалось, что без какой-то бумажки ей не верят! Начальству бумажка дороже, чем живой человек. Но обижаться сейчас некогда, надо быстрее в сельсовет бежать. На своё счастье застала Петухова на месте, но тот стал кочевряжиться:

— А почему я знаю, что тебе справка нужна? Что же тебе в военкомате запрос не дали? Так, мол, и так — выдайте гражданке Савиной справку. Всё стало бы ясно и понятно. А так что с тобой делать?

— Сейчас в военкомат сбегаю. Они, должно, забыли! — и Надёжка повернулась к выходу.

Егорка остановил:

— Ладно, не ходи никуда... Что с вами, темной, поделаешь!

Пока он выписывал справку, она представляла себе Павла. Её муж — офицер! Это слово казалось ей загадочным, значительным, таким, что и вслух-то его страшно произнести. А свёкор-то как обрадуется, задёргает всех, окаянный. Ей аж смешно сделалось, когда вспомнила свёкра. Это надо — в Панькин Угол не поленился прийти! В военкомат собирался. Надо бы его взять — порадовался бы старик.

Выхлопотав справку, она вернулась в военкомат и, прежде чем открыть дверь, нерешительно затопталась перед ней. Счастливое предчувствие и неожиданное волнение, свалившиеся на неё, заполнили и сердце, и мысли. Дальше всё происходило как во сне: она медленно раскрыла дверь, встретилась взглядом с дежурным лейтенантом, тот махнул — мол, ступай-ступай, и она крадучись, боясь собственных шагов, пошла по коридору к знакомому кабинету. Майор ждал. Он легко поднялся со стула, Надёжка подала ему справку, но он, не взглянув на неё, начал открывать сейф. Открыв — положил на стол две большие пачки денег.

— Здесь две тысячи, — сказал майор, поглядывая на деньги, — можете пересчитать, как и полагается в таких случаях, и вот здесь распишитесь. — Он поставил галочку на казённом бланке серой бумаги, обмакнул перо в чернильницу и пригласил Надёжку расписаться. Пока она, нагнувшись, долго подбирала букву к букве, красивый майор рассматривал её спину, талию... Когда же Надёжка положила ручку

на стол, он неохотно отвёл взгляд, посмотрел роспись и промокнул пресс-папье: — Ещё раз поздравляю!

Она вышла из кабинета и пошла по коридору, держа деньги, как кирпичи; ей казалось, что её вот-вот окликнут и деньги отберут. Сидевший у выхода лейтенант подсказал:

— Деньги убрать надо — дело к вечеру идёт.

Надёжка понятиво закивала, положила деньги за пазуху, но пачки были толстые и слишком выпирали. Тогда она сняла платок и понесла их в узелке, как носят еду.

Она не шла, а летела домой и не заметила, как промахнула Пушкарскую, как добралась до расставанных вётел, и испуганно ойкнула, увидев, что кто-то выбирается из ближнего отрожка. Присмотрелась — свёкор!

— Папань, чуть от испуга не умерла... Разве можно так?! — она опустила на траву и вдруг заулыбалась.

— Чего скалишься-то? — рассвирепел Григорий. — Рассказывай, зачем в военкомат вызывали?

Она вместо ответа развязала платок и молча показала свёкру деньги.

— Что это? — опешил тот.

— Папань, разве не видишь?

— Где взяла?

— В военкомате дали... Павел прислал!

— Пашка?! Сын мой Пашка прислал?! — Григорий заморгал, не находя больше слов от удивления, и опустился на траву рядом со снохой: — Рассказывай, девка!

Пока, захлебываясь от радости, Надёжка тараторила о том, что узнала в военкомате, Григорий повторял и повторял:

— Мой Пашка — офицер! Офицерское звание заслужил! Поди, полком командует!

Угорев от счастья, от возможности высказывать радость друг другу, они спустились с холма в село, и, проходя мимо избы Кости Кривошеева, Григорий остановился:

— Стой, Надюха! Константин всю войну на брони сидит. Трактористы в МТС хорошо зарабатывают — у него должна мука быть. Что нам деньги? Давай муки купим!

И Надёжка согласилась.

Они постучали, но хозяина дома не оказалось. Открыла его худая, глазастая жена.

– Здравствуй, Авдотья, – горделиво поздоровался Григорий. – Говорят, у вас мука на продажу есть?

– Мука-то есть, да только, Григорий Тимофеевич, – хозяйка ещё больше округлила тёмные глаза непонятного цвета, – дорогая она нынче, не всякому по карману, – и всем своим видом сказала: «Зря притащился, старик, откуда у тебя, гольтяпы, деньги?!»

Державший узелок при себе, Григорий развязал его, но деньги пока не показал:

– Чего мы в сенях стоим? Веди, хозяйка, в избу! – Григорий первым нырнул под притолоку и, дождавшись, когда войдут Авдотья с Надёжкой, выложил деньги на стол: – Вот, считай! Ровно две тыщи. На все муки давай!

Кривошеева удивлённо посмотрела на деньги, на Григория с Надёжкой:

– Вам какой же муки-то? Пшеничной или аржаной?

– Пшаничной! – резанул Григорий рукой по воздуху. – Где наша не пропадала. Гулять так гулять!

Пока хозяйка пересчитывала деньги, Григорий нервничал, жалеючи поглядывал на мелькавшие в чужих руках бумажки.

– Ну что же, – замялась Кривошеева, закончив считать, – по нынешним ценам на эти деньги могу вам продать пуд... Да и то, пожалуй, многовато – хозяин ругаться будет... Ну да уж ладно.

– Ты в своём уме? – присвистнул Григорий. – За две тыщи – пуд?! Хотя и дорогое всё нынче, но и денег много – на мешок потянут.

– Григорий Тимофеевич, я ведь вас не неволю.

– Тьфу, зараза, – плюнул Григорий. – Надёжка, пошли отсюда!

Они поспешно вышли из избы и молча прошли несколько дворов. Первой заговорила Надёжка:

– Папань, на что нам деньги-то, когда ребята с голоду пухнут, а сами еле ноги передвигаем! Помрём, и деньги никому не понадобятся. Разве Павел нам для того их прислал, чтобы мы кубышку набивали!

– Ловкая какая, – огрызнулся старик, – чужим добром-то распорядиться. Сын-то мой

эти деньги под пулями заработал! Тебя туда, мокрощелку, послать! Узнала бы!

Надёжка ничего не ответила. Ничего более не сказал и Григорий. Но когда прошли мост и стали подниматься на порядок, он нерешительно остановился, отдал деньги снохе:

– Ладно, иди, забирай муку, а я здесь тебя подожду. Видеть её не могу!

– Правда?! – радостно выдохнула она и быстрее к Кривошеехе, пока свёкор не передумал.

Она без стука вошла в дом, положила деньги на стол и словно попросила извинения:

– Мы согласны...

Кривошееха пошла в чулан и принесла в избу полмешка муки и безмен. Пока она искала, во что отвесить муку, неожиданно вернулся Григорий. Он, не доверяя снохе, подержал муку на ладони, понюхал, кинул щепотку в рот, а когда хозяйка насыпала муку в мешок и стала взвешивать – проверил. Только после этого сграбастал мешок и позвал сноху:

– Пошли отсюда!

На улице Григорий быстро забылся, сделался улыбчивым, первым здоровался со встречаемыми и всех ставил в известность:

– Здорово жили, уважаемый! Приходи сегодня к нам на блины. Павел-то денег прислал, муки вот купили! Приходи блины есть. – И, сделав впечатляющую паузу, торжественно добавлял: – Сын-то мой офицерское звание получил!

Люди недоверчиво смотрели на Григория, а он и не замечал их взглядов: говорил и говорил. А перед своим крыльцом крикнул чуть ли не на всё село:

– Мать, где ты? Принимай от сына подарок!

Сашка услышал Григория первым. Он выбежал на крыльцо, замер, присматриваясь к деду, и, убедившись, что он не пьяный, – нырнул в сени. Вскоре оттуда показалась Акуля. Григорий опустил мешок у порога, растопырил руки, поймал жену и неожиданно обнял её и поцеловал. И, странное дело: какое-то время Акуля не вырывалась из объятий, покорённая забытым обхождением, и, ещё не зная, что произошло, тоже заулыбалась и мягко спросила:

– Отец, что с тобой сегодня случилось? Толком-то рассказать можешь?

— Праздник у нас сегодня, мать! Праздн-ник! Наш с тобой сын офицерское звание получил. Много денег прислал. Затапливай печь — затевай блины!

— Да вроде бы поздно печь-то топить... Завтра бы с утра!

— Ты что, мать, или недовольна? — с напускной строгостью спросил Григорий и шагнул в сени: — Пошли, пошли, будем блины печь!

За дедом первым увязался Бориска. Он оглядывался на мать, бабушку и восторженно говорил: «Дедыка — мняня, дедыка — мняня!»

Пока Акуля просеивала муку, Григорий принёс с улицы дрова, сам начал растапливать печь, торопливо и поэтому дольше обычного высекал кремнями искру, потом до боли в ушах дул на ватку и, когда она затлела, раздул пламя, подставив пучок соломы. Когда дрова разгорелись, Григорий посчитал дело сделанным и, счастливый, уселся на лавку. Глядь — кто-то в избу идёт, в сенях шебуршится.

— Заходи, кто там? — крикнул Григорий.

Только сказал, дверь растворилась, и вошёл Костя Кривошеев.

— Доброго вам здоровьица, люди добрые, — поклонился он и опустил на пол поклажу. — Ты уж, Григорий Тимофеевич, извиняй за мою бабу! Не по-людски поступила: лишку с вас за муку взяла! Раз так, ещё пуд мучки принёс. Так будет по совести. Думаешь, не понимаю, как вы бедствуете!

— Не мы одни, — вздохнул Григорий, — все так. Время-то какое!

— Вам-то особо достается без коровы... — тоже вздохнул высокий, носатый Кривошеев. — Акулина Михайловна, освободи мешок, сделай доброе дело.

Вся семья заворожённо смотрела, как Кривошеев пересыпал муку в подставленный мешок и отряхивал мучные руки. Всё походило на сказку, и не было сил оторвать взгляд от мешка. Неожиданно Акуля заплакала. Она взяла Кривошеева за руку, прислонилась к нему, запричитала:

— Какой же ты, родимец, желанный, уважительный! Меня, бабку замшелую, по имени-отчеству величаешь! В коем-то веке я слышала имечко батюшки моего, царствие ему

небесное... Садись с нами, желанный, отведай блинка горячего, раздели радость, уважь нас, старых, уважь!

Кривошеев стеснительно попятился к двери:

— Спасибо, хозяйка, за приглашение, только идти надо — корову загонять. Она такая у нас дуrolомная, на волков ещё напорется.

Было заметно, что Костя Кривошеев стесняется находиться в чужом доме, что разговор с хозяевами ему в тягость. Он и ушёл тихо, вовремя почувствовав, что сейчас им не до него. Ребята, Григорий, Надёжка — все ждали, когда Акуля начнёт печь блины, и нетерпеливо смотрели, как она забалтывает муку. Когда собралась ставить сковороду на угли, оказалось, что нечем подмазывать сковороду. Хочешь не хочешь, а пришлось идти к Елизавете — просить кусочек сальца. Слава богу — не отказала... Самый первый блин разделили на ребят: и Нинушка, сидевшая у матери на коленях, и Сашка с Бориской, топтавшие около бабушки, съели, обжигаясь, свою долю, словно и не было ее. И с такой жадностью, что Григорий не смог на них смотреть и, чтобы заглушить приступ тошнотворного голода, вышел на крыльцо и закурил. Но курить не хотелось, он и на крыльце чувствовал, как пахнет в избе печёным тестом, и запах этот кружил голову. Неожиданный обморок подсёк его чувства, и он будто со стороны увидел подошедшую сноху. Она, улыбаясь и откусывая блин, что-то говорила, а он не мог смотреть, как она ест и улыбается.

— ...Пошли, папань, в избу, — услышал Григорий голос снохи, показавшийся ему слабым-слабым. — Ребята наелись — теперь наш черед.

Пошатываясь, он пошёл в избу, сел на приступку, и, когда сноха подала блин, ему показалось, что это Павел стоит перед ним. Григорий даже расслышал его слова: «Ешь, батя, ешь! Теперь вы с голоду не помрёте! Всегда буду помнить о вас...»

Григорий ел блины до тех пор, пока Акуля не остановила:

— Отец, передохни, разве можно столько трескать — кишки завернутся! Что тогда делать будешь?

– Не завернутся, – мычал Григорий, расправляясь с очередным блином. – Чаю бы вскипятила, чем оговаривать.

– Есть когда с твоим чаем куёхтаться, если с двух сковородок блины не успеваю снимать!

– Чугунок недолго поставить.

Григорий просил чаю, но ему уже ничего не хотелось. Только спать. Наевшись, он вышел в сенцы и напился из ведра, тихо вернулся в избу, осторожно пробрался на печь, словно его могли турнуть оттуда, и моментально заснул. Проснулся среди ночи от жары, распаренный, вышел в сенцы и долго пил. Потом выбрался на крыльцо и никак не мог надышаться утренним воздухом... До рассвета Григорий просидел на крыльце, поддавшись набежавшим грёзам. Они сладостно грели душу, ласкали мысли и наливали тело силой. Когда под застрехой заворочались чили, Григорий пошёл будить Акулю.

– Вставай, мать! – нетерпеливо толкнул он её. – Скоро Надёжке на работу – блинков ей испеки... Да и сами поедим. Не надоели ещё, как хорошо в охотку-то.

Акуля поднималась нехотя, а Григорий не торопил: сам нарубил дров, долго раздувал огонь, воды принёс на всякий случай – и всё делал с желанием, никто его не подгонял. Когда Акуля занялась блинами, есть не спешил, радостно поглядывал, как растёт румяная стопка, и часто выбегал на улицу, смотрел, не выгоняют ли стадо. Когда же над селом раздалось хлопанье кнута, Григорий собрался на выгон.

– Мать, – поторопил он жену, – заверни-ка мне блинков в холстину! Пойду Васятку угощу и разных прочих людей. Пусть знают, что нас сын не забывает!

При упоминании о сыне Акуля неодобрительно покачала головой:

– Добрый нашёлся... Кроме сына, о тебе что-то не больно кто вспоминал!

А Григорий будто и не слышал её.

– Блинку-то каждый будет рад, – заулыбался он, – да только блин без масла – не блин. Маслица бы к нему – вот дело! Уважь, сбегай ещё разок к Елизавете, попроси!

– Фокин должен быть дома. Каково ему на глаза попадаться!

– Придумай чего-нибудь...

– И не проси... Не хватало из-за чужих людей на глаза лезть!

Вскоре Григорий шёл на выгон, аккуратно придерживая блюдо с блинами. Увидев Мать-Груньку, по привычке занявшего место на бугре перед Барским садом, поднялся к нему.

– Здорово, Васёк! Как поживаешь?

– Здорово... Я бык, а ты корова!

– Ну, малый, совсем заважничал. Помнится, попроще был... Блинков тебе принёс... Павел-то мой денег на муку прислал, денег много – ты столько никогда и не видел! Офицерское звание мой сынок получил. Это тебе не шутка, брат... А ты ешь-ешь... Павел-то в письме наказал: как деньги получите, так первым делом Васятку, тебя то есть, накормите. Чтобы до отвала малый наелся! Вот так-то, брат.

Пока Григорий подробно рассказывал, как вчера покупал муку, подошёл Мать-Грунькин подпасок – тоже за блины принялся. Тут вскоре и скотину стали выгонять. Увидев Григория, люди подходили поближе, интересовались, не надумал ли старый скотину пасти, но вместо ответа тот угощал блинами, рассказывал о сыне, и к тому времени, когда блины закончились, Павел, по словам Григория, уже командовал дивизией.

– Одного не пойму, – принародно удивлялся Григорий, – откуда у него такая хватка?! Попробуй любого каждого поставь такой силой владеть – сразу коленки затрясутся. А Павел-то справился. Ушлый он у меня! Ему грамотёшки побольше – фронтом бы поставили командовать.

Люди охотно принимали угощение, а к словам Григория не прислушивались особо: мало ли чего наговорит старик. Не болтает ничего обидного – и ладно. Некоторые, правда, завидовали и не верили, что Павел дослужился до какого-нибудь высокого чина, так – лейтенантишкой каким-нибудь стал, ну, может, старшего дали, а уж разговоров-то... Дивизией командует! Язык-то без костей... Понятно, что Григорию вслух об этом не говорили: посмеивались потихоньку, но старику до этого никакого дела. Пусть посмеются люди, а он теперь

будет каждый день блины есть и пироги всякие. Вот так-то!

Вернувшись с выгона, Григорий загорелся новой мыслью: надо и на наряд сходить! Когда сказал об этом Акуле, та обозвала дураком.

— Знаю, какой есть, — миролюбиво проворчал он, — а ты всё-таки послушай меня, дурака-то... Это что же получается: те, у кого скотина имеется, ещё и блинами сегодня лакомились, а те, у кого ничего, — шиш проглотили! Чудно получается. Так что, хочешь не хочешь, а ещё блины пеки, пока я не осерчал, а то хуже будет. Ты меня знаешь!

Повздыхав, Акуля занялась блинами, а Григорий заглянул в спальню и достал из сундука сапоги, галифе серого сукна, сшитые к свадьбе Павла, и, подумав, решил надеть сынову голубую атласную рубашу, в которой тот венчался. Она хоть и была чуток мала, зато очень нравилась Григорию. Всё хорошо — одна беда: пояска подходящего не оказалось, чтобы рубашу подбрать, но и тут старик не растерялся: порывшись, нашёл в сундуке красивую тесьму, подпоясался. Оттолкнул Акулю от вмазанного в кирпичи зеркальца, пригнулся, осматривая себя. Пока прихорашивался, пришла с пруда Надёжка, громыхнула на крыльце тазом и в доме переглянулась с Акулей. Стали смеяться на пару. От удовольствия на лавку сели.

— Чего трещите-то? — напустился на них Григорий. — Ребят, окаянные сороки, разбудите!

— Ничего, им пора вставать, — прыснула Акуля. — Дед, чем подпоясался-то?

— Не видишь разве?

— Вижу, тесьмой... Из неё бабы подвязки делают! Ха-ха-ха.

Григорий оглядел себя, потрогал поясок и сорвал:

— Смеётесь, курвы!

— Над тобой не хочешь, а рассмеёшься, — веселилась Акуля. — Уж не выдумывай, а подпояшься настоящим ремнём, коли собрался на люди идти, а то удумал.

Сконфузившийся Григорий отправился в спальню, нашёл Павлов брючный ремень и, вернувшись, закричал на жену:

— Блины готовы? Готовы, спрашиваю? Молчишь... А то смешно ей сделалось. Пеки быстрей.

Григорий не стал унижать себя разговорами с женой, вышел на крыльцо. Она сама позвала:

— Отец, ты где? Две стопки напекла! Вместе с Надёжкой иди, а то сам-то блины по дороге растеряешь.

— Ещё чего надумала? Один пойду! В поворотах не нуждаюсь!

Григорий старался идти по селу как можно медленнее. Увидев же у крыльца Густю, остановился, угостил её блином и в который уж раз за утро рассказал о Павле. Поговорив, он и далее ступал не торопясь, торжественно, но дошёл до конторы почему-то быстро. Дверь оказалась закрытой, и он уселся на крыльце. Вскоре стали бабы подходить. Они уже всё знали, но всё равно притворно удивлялись, благодарили Григория, желали доброго здоровья и ему, и Павлу. Григорий цвёл.

— Блины — чепуха... Скоро Павел шоколаду пришлёт... Вот тогда по-настоящему разговеемся, — обещал он, забыв цену словам.

Заметив подошедшего Зубарева, Григорий поднялся с крыльца, прикрыл оставшиеся блины холстинкой, а перед председателем раскрыл:

— Угощайся, Фёдор Иванович!

Зубарев взял кусок блина, вздохнул, понюхав:

— Благодарствую, Григорий Тимофеевич! Рад за Павла — всем князевским мужикам нос утёр!

— Отважный парень, — растаял Григорий. — Он у меня ещё на финской орден отхватил... Теперь в Герои метит!

— А что, получит! — поддакнул Зубарев. — Передай, Григорий Тимофеевич, привет от всего колхоза. Напиши, что ждём. Обязательно напиши.

— Об этом не беспокойтесь, — Григорий поискал глазами среди баб Надёжку и, найдя, указал пальцем: — Слыхала, что председатель говорит! Придешь с работы, за писанину садись!

Уйдя из правления, Григорий ещё долго бродил по селу, рассказывая о Павле, и вернулся домой пьяненьким.

— Ладно, всё — погулял денёк, и хватит! — осадила его Акуля. — А то вырядился. Сыно-

ву рубашку за день ухлюстал... Кавалер выискался!

— А что, пойду сейчас к Затеихе и посватаюсь. Она не скажет, что «вырядился», потому что своё ношу. Павлу эту рубаху на мои деньги шили. Я заработал!

Григорий пошумел-пошумел и отправился спать. Ему не хотелось ругаться, и поэтому он берёт в себе хорошее настроение и сохранил его на несколько дней, хотя Акуля более не разрешала надевать Павлову рубаху и перестала баловать блинами, а с утра пекла мучную запеканку из конятника. После блинов на такую еду смотреть не хотелось, и Григорий всё нетерпеливее ждал от сына известий, надеялся, что Павел ещё пришлёт деньжонок. Как хорошо, когда знаешь, что за спиной кто-то надёжный стоит, — враз силы прибавляются. А от силы — уверенность в себе. Как получил Григорий деньги, так на дню по несколько раз нарочно проходил мимо фокинской избы, мол, гляди на меня, завидуй, что с высоко поднятой головой хожу! Но Фокин в эти дни словно сквозь землю провалился. Вот какая сила в деньгах! Но деньги деньгами, а Григорию хотелось получить от Павла письмо, самому почитать его, поддержать листок бумаги, к которому прикасались руки сына. С зимы он не прислал ни строчки. «Разве тяжело письмишко начертать? Пустяк. Коли ранен или ещё что случилось — так и сообщи. Поймём, не дурней людей. Если мать с отцом и семья не нужны — тоже напиши. Чего же отмахиваться-то?! Или деньгами захотел отделаться? Подумаешь — деньги! У меня их в молодости перебивало пропасть. Бывали случаи — счёта им не знал... Так что деньгами нас, малый, не удивись!» — тоскливо думал Григорий.

ГОРЕ ГОРЬКОЕ

Недели две ждали от Павла письмо, но не дождались, и вместо него почтальонка принесла Надёжке новую повестку. Её опять вызывали в военкомат! Повестку получил за сноху Григорий — и быстрее в ригу, где в этот день работала Надёжка. От радости он было

побежал, но бежать не смог, не хватало духу. Когда поднялся за Барский сад, сил не осталось даже на то, чтобы подойти к бабам поближе, только помахал повесткой и крикнул осипшим голосом:

— Надёха, мать твою... Иди сюда быстрее!

Та подбежала, смотрит испуганно.

— Чего глазищами хлопаешь? Беги в военкомат — Павел ещё денег прислал! — Григорий тяжело поднялся с травы, шлепнул сноху по спине: — Что застыла? Держи бумагу, да не вздумай к Кривошеевым за мукой заходить — у других людей купим. Не связывайся с этими крохоборами!

В один миг счастье захлестнуло Надёжку. Она спустилась к ручью, умылась, и, не забегая домой, — напрямиком в Пронск. Когда добралась до военкомата, то несколько минут отсиживалась в тени деревьев, пытаюсь остыть. Но чем дольше сидела, тем сильнее охватывало волнение.

Она растворила знакомую дверь, замирая от нетерпения. Молча показала повестку дежурному, и тот, молча же, внимательно посмотрел на вошедшую, указал рукой на полутёмный коридор. Надёжка постучала в дверь кабинета, ей откликнулись, и она несмело вошла, робко встала у двери. За столом сидел прежний румяный майор, недавно выдававший деньги. Он встал, увидев Надёжку, одёрнул гимнастёрку и шагнул навстречу, взял из её рук повестку, указал на стул. Сам вернулся на своё место и начал барабанить пальцами по столу, задумчиво поглядывая в зарешеченное окно. Наконец взглянул на посетительницу и сказал в сторону, будто другому человеку:

— Должен вам сообщить, гражданка Савина, что ваш муж — Савин Павел Григорьевич — совершил воинское преступление... Он незаконно переслал вам деньги, и поэтому всю полученную сумму в размере двух тысяч необходимо вернуть. Они целы?

Надёжка не поняла, что говорил военный, только вопрос о деньгах дошёл до сознания, и она, радуясь, ответила невпопад:

— Спасибо... Мы на все муки купили...

— Вы, наверное, не поняли, о чём речь, — поморщился майор. — Вы понимаете, что ваш

муж совершил преступление и деньги необходимо вернуть! Понимаете это?!

— Понимаю... Но денег нет — мы с папанькой на них муки купили... А что Павел сделал-то?

— Ничего определенного сказать не могу. Известно лишь, что ваш муж незаконным путём переслал денежный аттестат. В настоящее время ведётся следствие. Оно и поможет узнать истину и выявить виновных... Или виновного. А деньги вы, значит, истратили? Что ж, тогда свободны. Больше вопросов нет.

— Его посадили? — глядя на майора округлёнными глазами, спросила Надёжка.

— Я же сказал: ведётся следствие и, надо думать, он находится под стражей. Ещё есть вопросы?

Она выходила из военкомата, и ей показалось, что под ней проваливается пол. Когда оказалась на улице, то весь мир действительно перевернулся, и она почувствовала, что падает в чёрную яму... Сколько времени пролежала в темноте, не знала, и, прежде чем увидеть белый свет, услышала голоса чужих людей... Она почувствовала, что кто-то посадил на скамейку, взял под руки и придерживал её, когда она начинала заваливаться. Кто-то другой начал брызгать водой, но вода казалась тёплой и на лице не чувствовалась, лишь по груди и животу лилась прохладной струйкой. Надёжка открыла глаза и увидела перед собой дежурного по военкомату, незнакомую старуху и майора, стоявшего чуть в стороне.

— Самостоятельно сможете дойти? — спросил он.

— Дойду, — прошептала она и поднялась, стыдясь своей слабости.

— Может, вас всё-таки проводить? — вызвался красивый майор, но Надёжка замотала головой.

Она шла домой час, а может, два. Время для неё перестало существовать. Раз за разом вспоминала, что говорил майор о Павле, но ничего не вспоминалось, только застряло в сознании, что Павел под следствием. Он сидит! И ещё вспоминался взгляд майора, когда он говорил с ней. Похоже, майор радовался тому, что произошло с её мужем, словно до этого дня Павел стоял у него на пути, а теперь перестал мешать.

Она долго не могла вспомнить, где видела похожий взгляд, а когда подходила к селу, — припомнила... Перед войной это было, в ту ночь, когда возвращалась от Павла из Егорьевска и дожидалась утра на станции... Тогда картёжники отняли у неё продукты, а когда прибыл их поезд, один, самый нахальный, жестом и взглядом показал, что бы он сделал с ней, будь у него побольше времени.

Надёжка поднялась к своей усадьбе от ручья и, не решаясь идти в избу, сидела за двором, где на неё наткнулся свёкор, заглянувший за угол по нужде.

— Чего здесь торчишь? — удивился он. — Деньги получила?

Надёжка поднялась и молча пошла к крыльцу. Григорий остановил:

— Стой, девка, шалишь! Рассказывай, что случилось? Никак потеряла?!

— Не было денег-то, не было... Павла посадили! — крикнула Надёжка.

— Чего орёшь? — замер Григорий. — Кто это наболтал?

— В военкомате сказали...

— Пошли в избу!

Григорий повёл сноху, как нашкодившую девчонку, — за руку.

— Вот, — подтолкнул к Акуле, — расскажи матери, а я пойду в военкомат. Смотри, если что напутала!

Григорий скинул лапти, достал из сундука сапоги. Хотел и рубаху со штанами сменить, но не стал возиться. Мыслями он уже был в Пронске. Никогда Григорий не ходил так быстро. Шёл, не чувствуя под собой ног, не слыша собственного сердца. Его чувства и тело слились в единое целое, и хотелось только одного: как можно скорей узнать правду о Павле, потому что — Григорий был уверен в этом — сноха что-то страшно напутала, поставила всё с ног на голову, да и что с глупой бабы спросить?!

Распалённый, он влетел в военкомат, узнал у дежурного, где сидит «главный» начальник, и без стука ввалился в кабинет майора.

— Я Григорий Савин из Князева, — сообщил он и зло взглянул на майора, словно сказал: «Что, попался, голубчик!»

— Очень приятно, — приподнялся тот над стулом и представился: — Майор Цвирко. Слушаю!

— У вас тут сноха появлялась... Зачем же девушку напугали? Еле живая домой притащилась!

— Григорий... Простите, не знаю, как вас величать?

— Тимофеев сын я...

— Так вот, Григорий Тимофеевич... Ваш сын действительно совершил преступление, дав о себе неправильные сведения... А проще сказать — подделал денежные документы. Будет вам известно, что по вручении денежного аттестата получателю мы отсылаем подтверждение в финотдел той войсковой части, которая переслала аттестат... А там, где служил ваш сын, каким-то образом подтверждение попало не в его руки или его сообщников, если были таковые, а в чьи-то другие. И... Проверили — не числится в офицерах ваш сын!

— Сами же снохе говорили, что он офицерское звание получил! — простонал Григорий.

— Да, говорил, но кто мог знать, что всё так получится? Я исходил из соображений практики.

— Что же нам теперь делать?

— Что делать? Ждать, чем всё закончится.

— Его расстреляют?

— Не должны... Скорее всего — штрафная рота.

Последние слова майора вселили в Григория надежду, хотя он знал, что штрафная рота — это тоже почти верная смерть. Но и без штрафных рот погибают люди, а бывает, и штрафники выживают. Это уж кому как повезёт... Мимолетные мысли о жизни и смерти отошли за тын памяти, едва Григорий вышел из военкомата и увидел на улице первого прохожего. Ужасаясь, он подумал о том, как теперь ему-то жить? Ведь вся округа знает, что его сын — офицер, денег прислал, а оказалось, он — вор, хоть и не для себя крал, для него же, старика, для детей своих, жены, но всё равно — вор! И Григорий обмякшим мешком опустился на траву, по-бабьи зарыдал, представляя тот позор, который теперь падёт на его семью. Уж лучше бы сына убили, а сами все они поумирали от голода, чем смотреть теперь людям в глаза... Он всё-таки чуток успокоился, перестал разводить мокроту и вернулся к майору. Пос-

тучавшись, попросил разрешения войти и занялся у порога:

— Сынок... Ты уж не докладывай людям о нашем несчастье!

Цвирко хотел подняться навстречу Григорию, но тот торопливо выскочил из кабинета. На улице старик крутнулся за угол, попал в заросли акации и черемухи, продрался через них, обогнул механические мастерские и выбежал в поле, за которым виднелся близкий овраг, заросший орешником. Дотемна старик просидел в кустах, не желая никого видеть и слышать, а как стемнело, поплёлся Котовой ложиной домой. Пройдя ложину, через дубняк подошёл к шоссе, гонным зайцем перемахнул её и вышел в следующую ложину — Максакову, откуда до дому оставалось чуть-чуть.

Акуля сидела на крыльце, чёрным пнём выделяясь в зелёном свете лунной ночи. Григорий сел рядом, вздохнул.

— Добился чего? — спросила жена.

— Чего добьёшься... В военкомате говорят — Пашку в штрафную роту отправят. Он денежные бумаги подделал... У нас мука осталась?

— Зачем она в такую пору?

— Нужна, если спрашиваю!

— Фунта два ещё есть.

— Неси!

Акуля сходила в избу, вынесла небольшой, завязанный узелком мешочек, отдала мужу. Григорий взял муку и обнял Акулю:

— Мать, не горюй, проживём...

Он сошёл с крыльца и через большак направился к пруду. Чуток постоял на травянистом берегу и забросил в воду мешочек с мукой. Ещё постоял, разглядывая разбегающиеся круги, и вернулся на крыльцо, сел рядом с Акулей.

— Куда муку-то дел?

— В пруд выбросил, рыбам на прикормку. Завтра с утра пойду карасей ловить.

— Хотя бы пустой мешочек оставил, недотыка!

Акуля закрыла лицо руками, плечи её стали вздрагивать, а Григорий, ничего более не сказав, отправился в сарай спать. От внезапного поступка отлегло на душе, задышалось легче. Захотелось утешить Акулю, поговорить с нею, но нахлынувшая расслабленность приятной негой окутала сознание.

Когда же Григорий собрался выйти к жене, увиденное перед глазами вдруг заставило замереть душой, затаить дыхание. Он несколько минут лежал неподвижно, боясь шевельнуться и спугнуть видение... Перед ним, как живой, на кровати сидел Павел. Григорий еле-еле узнал его: сын показался маленьким, высохшим, только усы большие.

— Ты в кого превратился-то? — шёпотом спросил Григорий. — Не болеешь ли, сынок?

Павел подвинулся поближе, внимательно посмотрел отцу в лицо:

— Обо мне чего говорить... Моя песенка спета. Как вы-то? Наелись хоть досыта? Или не успели?

— Сперва-то будто и сытно показалось, а теперь кислая отрыжка замучила... На кой так сделал-то? Или думал, без твоих денег не проживём? Значит, по-твоему, все кругом дураки, а ты умный выискался, всех обхитрил! Ловок, ничего не скажешь. Да, видишь ли, хитрость-то твоя боком для нас вышла. Как теперь жить-то нам? Ты об этом подумал?

— Бать, что-то не пойму тебя, — Павел сел поудобней, прислонился спиной к плетнёвой стене, — уж больно чудно говорить стал, как ангел небесный. Послушаешь тебя, так слезьми изойдёшь. Ты сам-то помнишь, чего вытворял?! А куда девал всё? В глотку заливал да с бабами прогуливал! А я детям своим прислал деньжонок, Надёжке, тебе с матерью. Небось, за стол-то первым садился пироги молотить. Знаю-знаю!

— Замолчи, шенок! Изыди, сатана... Счас я тебя! — Григорий стал шарить вокруг себя, пытаясь найти что-нибудь тяжёлое и запустить в этого маленького и мерзкого человека, нахально развалившегося на его кровати, но, пока возился, человечек исчез, и сколько Григорий ни всматривался в темень, кое-где рассечённую косыми лунными лучами, ничего не увидел.

Старик затаился, дожидаясь, когда снова явится он. От ожидания душа незаметно наполнилась страхом, а заполошный стук сердца и неуёмная дрожь, от которой скрипели суставы, выгнали из сарая.

Акулю на крыльце он не увидел и принялся стучать в окно. Когда открыли, Григорий оттолкнул жену, проскочил в сенцы и в избе заб-

рался на печь. Здесь капельку успокоился, но едва Акуля перестала ворочаться на кровати, а изба наполнилась тишиной, он услышал, что кто-то шебуршит за печкой. Чем пристальнее Григорий вслушивался, тем громче и отчётливей раздавались непонятные шорохи, и показалось, что вместе с ним из сарая перебрался он... Это предположение быстро превратилось для Григория в реальность, и старик по звуку пытался определить, что задумал давешний человечек... Григорий так извёлся, что ему уж казалось — человечек сидит рядом, в сучинке, и тарашится... Григорий попытался незаметно схватить его за шиворот, но едва шевельнулся, как тот попятился и нагло улыбнулся. От его улыбки сделалось страшно, он попытался остановить народившуюся дрожь, но ничего не мог с ней поделать и, спасаясь от привидения, сполз с печи, добрался до кровати, где спала Акуля, подвинул её и лег рядом, спрятавшись под одеяло. Рядом с тёплым жениным боком Григорий успокоился, но пролежал недолго. Акуля на какое-то время от неожиданности замерла, когда Григорий обнял её, а потом поднялась над подушкой и грозно зашептала:

— Что делаешь? Из ума выжил? Сейчас же отправляйся на своё место!

Григорий ничего не ответил, только туже прижал жену, а та, не зная, как объяснить поведение мужа, вырвалась, сказала совсем тихо:

— Надёжку ведь позову...

Ничего не ответив, старик слез с кровати, у приступок оделся и вышел из избы. Собрался посидеть на крыльце, но вернулось недавнее волнение, и он припустился вдоль порядка, ходьбой и движением отвлекаясь от дум. Восход солнца старик встретил среди зеленеющих полей, где мало-помалу душа успокоилась, минувшая бессонная ночь отдалилась, и захотелось спать. Подыскав подходящее место в укромном овражке, он забрался, словно зверь на днёвку, в кусты калины и терновника, нарвал сочной травы вместо подушки и сразу же заснул провальным сном, чистым от сновидений, а проснулся в полдень от жажды. День выдался знойным, ночная роса давно высохла, зелень полей и лугов поблёкла, а в воздухе было тихо-тихо, как перед грозой.

Пока старик дошёл до села — упрел. Проходя мимо пруда, хотел искупаться вместе с ребятами, но лишь ступил на мостки и, едва-едва дотянувшись до воды и окатив лицо и шею, нехотя побрёл к дому. Подходил осторожно, невольно вспомнив ночные страхи. В избе никого не оказалось, а одному сидеть в ней не захотелось. Услышав в вишнях голоса внучат, отправился к ним. Они сразу окружили, но играть с ними не хотелось.

— Мать-то приходила на обед? — спросил Григорий у Сашки.

— Угу...

— А бабка где?

— Пошла на пруд полоскать твои портки!

— Чего брешешь-то? Только оттуда... Хотел сейчас с тобой одно дельце обстряпать, но раз ты врешь, то я другого компаньона возьму — Бориску! Правда, мой хороший?

Бориска прижался к дедовой коленке и, заглядывая ему в глаза, хотел что-то сказать.

— Мнямню хочешь? — догадался Григорий.

Бориска закивал, потянул деда в избу, а тот словно ждал этого приглашения:

— Раз так, пошли с тобой домового ловить. Пускай Сашка девку нянчит.

Григорий подхватил Бориску на руки и понёс в избу. Перед крыльцом опустил и повёл за руку. Перед тем как войти в избу, Григорий стал объяснять:

— Вот что... Ты махонький и полезешь за печку, — шептал дед внуку на ухо, — как я крикну «гони!», так ты начинай кричать: «а-а-а!» Вот так, понял?

Бориска понятливо кивнул и спросил:

— Мнямня?

— Конечно, о чём разговор, нам бы только домового схватить! Тогда сразу все наши беды прекратились бы.

В сенях Григорий захватил мешок, осторожно вошёл в избу, тихонько проводил Бориску в спальню, но внук не согласился лезть в тёмное запечье, а когда Григорий подтолкнул, то мальчишка заревел.

— Тебе только мнямню давай! — укорил дед. — Беги на улицу! Нужен мне такой помощник как собаке пятая нога. Без тебя справлюсь.

Так и не сообразив, зачем понадобилось деду

толкать его за печку, Бориска бочком-бочком выбрался из избы, а Григорий заткнул запечье со стороны спальни одеялами и подушками. Потом принёс со двора ведро мусора и щепок, принялся раздувать в ведре огонь, решив дымом выкурить домового, и приготовил мешок на тот случай, если вдруг запечный жилец надумает спастись бегством. Огонь в ведре разгорался плохо, хотя Григорий усердно раздувал тлеющие щепки и не заметил, как изба наполнилась дымом... Испуганный крик жены старик услышал даже через закрытую дверь.

— Горим! Помогите, люди добрые... Горим!

— вопила Акуля, и, услышав её, Григорий тоскливо подумал, что всё, теперь домового не поймать.

Старик увидел мелькнувшую в дыму жену, услышал, как она отбросила крышку сундука и стала выгребать из него добро.

— Теперь по миру пойдём! Все пропало, по миру пойдём! — причитала Акуля, а Григорию от её суеты сделалось смешно.

— Бабка, чего разъезгозилась? — негромко спросил он.

Услышав рядом насмешливый голос мужа, Акуля кинулась к нему и вцепилась в волосы:

— Что же делаешь-то, кровопивец? Из ума совсем выжил? — Акуля споткнулась об ведро, рассыпала тлеющие щепки, а Григорий уж хотел, постанывал от смеха.

— Горишь, мать твою... Вся юбка обгорела! — кричал он, но неожиданно через малое время сказал тихо и спокойно: — А ну пошла вон... Будешь над ухом вопить, и вправду избу сожгу!

Акуля выкатилась в сени, а Григорий собрал веником тлеющий мусор в ведро, вынес за двор и затоптал. Дым из избы выходил долго. Он наполнил сени, клубами выплывал из распахнутой двери, и Григорий отправился в сарай, чтобы ничего не видеть. Ему в этот момент хотелось одного: лечь, закрыть глаза и помереть, потому что не знал, ради чего теперь жить. Ещё несколько дней назад всё в нём цвело, он мечтал о встрече с сыном, и мечты те не оставляли места ничему другому... И всё обрушилось. Сынов нет — ни одного, ни, считай, другого. Есть, правда, внуки, сноха, но старик знал, что он им не нужен. Им бы только ругать-

ся. Он такой, он сякой, а они во всём правы. О жене и говорить нечего. Той только лаяться... Когда Григорий услышал голос пришедшей с работы Надёжки, позвал её:

— Слышишь, старуху поищи, поговорить с ней надо...

Вскоре Акуля тихо вошла в сарай, встала рядом:
— Чего звал-то?

— Слово тебе нужно сказать. Слушай и запоминай. Я помру скоро... Так ты хоронить не ходи. Не заслужила!

— Э-эх, — вздохнула Акуля, — думала, поумней что придумаешь, а ты как был брехлом, так им и остался... Помирай — слёзы лить не буду. Чего от тебя хорошего видела?! Одни матерки всю жизнь слушала да в синяках ходила!

Он и не ожидал услышать других слов, но всё равно показалось обидно. Отвернулся, закрыл глаза, найдя в себе силы промолчать. После ухода Акули ему захотелось поговорить со снохой, подсказать, как дальше жить, но она из избы не выходила, а просить бегавших около сарая ребятишек Григорию не хотелось... Вскоре их загнали спать, закрыли сени на задвижку, отгородились от него. Мол, помирай, дед, не очень-то ты нам и нужен.

КОГДА МЕРКНЕТ СВЕТ

Второй день Надёжка ложилась раньше всех, чтобы не видеть глаз свекрови. Старуха ничего не спрашивала, ничего не говорила о Павле, только взглядами съедала сноху, будто та виновата во всем. Надёжка же продолжала надеяться, что произошла ошибка и нужно чуть-чуть подождать, пока разберутся. С этими мыслями и уснула, а перед самым рассветом увидела Павла. Он сидел на тесовых нарах в низкой полутёмной комнате с одним подслеповатым окошком у самого потолка. На нарах она заметила ещё нескольких человек, но те все спали. Один Павел, прислонившись к серой стене, о чём-то думал, а когда она встретилась с ним взглядом, то встрепенулся, приподнял голову и замер, всматриваясь в одну точку.

— Пашка, это я, — шепнула Надёжка. — Долго вас тут держать-то будут?

— Чего мариновать... Завтра на отправку оформят, на передовую. Уж быстрее бы!

— Тебя одного погонят или ещё с кем?

— Нас вон сколько...

— За что же других-то людей неволят?

— Значит, есть за что, — Павел усмехнулся. — Так просто держать не станут... Вот что... Долго тебе находиться здесь нельзя — охранники заметят. Ступай во двор и жди до утра. Нас, должно быть, на машинах повезут. Когда на машины загонять будут — тогда и увидимся, а здесь нельзя находиться — мужики всё-таки, вот-вот просыпаться начнут...

Очнувшись ото сна, она застонала от обиды, потому что очень уж хотелось увидеть Павла по-настоящему, узнать, что с ним, куда повезут, на чём и с кем, но видение всё удалялось и удалялось, а когда совсем рассвело, то от него ничего не осталось. Одно щемящее чувство обиды ссохлось в груди комком.

Если бы Павел знал о Надёжкиной горести, ему бы не пришлось в это утро изводиться от одиночества. Прошедшая ночь оказалась особенной среди тех дней и ночей, когда закрутилась эта карусель, а наступавший с рассветом день должен был ответить на главный вопрос, мучивший последние дни: суждено ему жить или нет? К сегодняшнему дню Павел окончательно понял, что ввязался в историю до обидного глупо, хотя сперва, как виделось ему, рассчитал верно, даже и не сам рассчитывал, а знакомый писарь-земляк из штаба подговорил и убедил, что вместо убитого накануне офицера легко можно вписать другую фамилию в денежный аттестат: мол, у государства не убудет, а семью, может, от голодной смерти спасёшь! Это дело казалось верным и потому, что все подтверждения о получении денег проходят через руки самого писаря... И, надо такому случиться, от случайной пули-дурь писарь в госпиталь попал... А новому человеку на его месте на всё наплевать — своя шкура ближе к телу: сверился — не значит Савин в офицерах! Когда Павла вызвали в особый отдел, он прикинулся ничего не знающим, и это ему удалось, но всё окончательно захлестнулось, когда прочитали показания писаря-земляка. После этого рассчитывать на что-то хорошее уже не приходилось.

Утром, как он и предполагал, всех четырнадцать человек, находившихся в камере, вывели во двор армейской тюрьмы, размещавшейся в бывшем провиантском складе, присоединили к группе подобных и, пересчитав по списку, посадили на машины. Везли часа два. Примерно столько же вели под конвоем. В какой-то деревушке остановили, дали несколько минут на отдых, после чего раздали винтовки и извилистой ложиной, заросшей ольшаником, вывели к передовой. Приказ объявили такой: выбить противника с господствующей над местностью высотки. Себя же вся эта сотня озлобленных мужиков заклинала одним словом: выжить! Они по одному выскакивали из ложины, рассыпались веером и, низко пригнувшись, бежали по не паханному несколько лет полю, спотыкаясь в бурьяне, бежали навстречу ожившим пулемётам.

И Павел бежал вместе со всеми, и некстати всплыла в памяти песня о комсомольце, уходящим на гражданскую войну. Как молитву, твердил он слова из той песни: «Если смерти, то мгновенной, если раны — небольшой». А смерть вот она — рядом. Справа и слева падали штрафники, падали по-разному: кто молчком и плашмя, кто, согнувшись и схватившись за живот, кто, выронив винтовку, продолжал ползти на четвереньках, по-собачьи скуля, а кто падал, опрокинувшись навзничь, словно ударился о невидимую стену. Один споткнулся совсем рядом, Павел хотел поддержать, но неожиданно его самого будто ударили ломом в грудь... Павел еле устоял на ногах, но через секунду ли, две почувствовал, как ноги сами собой подломились и от боли задрожали внутренности. Опираясь на винтовку, он опустился на землю, тронул на груди гимнастерку и увидел пятерню, потемневшую от крови... Слезы радости залили ему глаза. Он радовался тому, что ранен, радовался, что остался живым и видит небо, недалекий лес и рядом с собой сломанный кустик пастушьей сумки... А когда стрельба замолкла, ему послышалось журчание жаворонка и вспомнилось родное село... Мать вспомнилась, отец, Надёжка, детишки, и он шептал им, как будто они стояли рядом: «Вы не пугайтесь раны моей. Главное —

живой и вину свою искупил. Теперь в госпитале полежу и к вам приеду, сейчас отпускают после ранения. Это не сорок второй год!» — «Что ж, сынок, — нагнулся к нему отец, — позор ты большой навёл на нашу семью, но что поделаешь. Переживём. И не такое лихо переживали. Не каждому суждено прямой стёжкой ходить... Ты только крепись, не поддавайся болячке...» — «Я креплюсь, батя, теперь для меня главное много крови не потерять...» Павел попытался разорвать нательную рубаху, но сил не хватило и стало тошнить. Когда полегчало, он почувствовал, что лежит на чём-то горячем, и, еле дотянувшись до бока, ощутил под собой сгустки крови. От испуга он на какое-то время потерял сознание, а когда очнулся, то вместо синего неба увидел над собой большую серую скатерть...

За день Павел неоднократно терял сознание, в нём пропало ощущение реальности, он находился в неопределённом состоянии, когда ничего не хотелось. Заставлял себя ни о чём не думать, считая, что этим сбережёт силы, и продолжал ждать, когда стемнеет и придут санитары, окажут помощь.

В сумерках, когда не так страшны пулеметы ближайшего дота, санитары действительно поползли к раненым, но на затихшего к этому времени Павла никто не обратил внимания. Для него, ещё задолго до захода солнца, наступила багряно-красная ночь небытия.

Через два дня неприятеля всё-таки выбили с высотки, а к концу второй недели в Пронск пришло извещение о смерти Павла. Получив похоронку, новая почтальонка, как и приказывал Егорка Петухов, принесла её в сельсовет. Петухов с некоторых пор все приходящие на территорию вверенного сельсовета извещения сортировал и, в зависимости от степени заслуг того или иного погибшего, поручал «доводить», как он выражался, извещения членам сельсовета или, в особо важных случаях, уполномочивал себя делать скорбные заявления от лица Советской власти. На этот раз был краток:

— Это враг народа! — сказал он почтальонке. — Отнеси сама.

Но почтальонка, знавшая, как и все в округе,

о случае с Павлом, не посмела в одиночку отнести извещение Савиным. Дождавшись вечера, она пришла к Вере и, вызвав её из дома, не взглянув в глаза, подала извещение:

- Вот вашей Надёжке прислали...
- Что это?
- А ты прочитай...

Вера опустила на ступень крыльца, глотая слова, начала читать:

– ...Сообщаем, что ваш муж, рядовой Савин Павел Григорьевич, умер от тяжёлой раны... Похоронен в Калининской области, Шитинском районе, в пятистах метрах от деревни Ломоносово на опушке леса под берёзой...

Прочитала Вера извещение до конца, и вспомнилось ей, как получила она когда-то такую же бумагу на Фёдора, сынка своего, и сил не нашлось сдержать себя, и слёзы полились сами собой. Вера не заметила, как осталась одна, и ещё долго сидела, не находя сил тронуться с места. Потом вдруг ей сделалось страшно. Она совсем не знала, как сообщить сестре и успокоить её. Одна так и не решилась пойти к Савиным, сходила за Густей. Что ни говори, а вдвоём уверенней чувствуешь. А Надёжка, когда увидела и родную сестру, и двоюродную, – повалилась им навстречу, выхватила бумагу Веры, пыталась прочитать и не смогла, рухнула на пол... Через несколько минут, нарыдаввшись, она отдышалась, поднялась на ноги, поглядела на сестёр шальным взглядом и сказала, не глядя на них:

– Девки, соберите деньжонок, к Павлу поеду...

Вера взглянула на сестру и схватилась за голову:

– Да ты смеяться никак вздумала над нами?! Денег ей... К Павлу поедет! Ты в своём уме-то?! А детей на кого бросишь? Совсем осиротить хочешь!

– Не дадите, пешком пойду, поползу, а побываю у муженька на могилке...

Надёжка выскочила на крыльцо, словно действительно собралась в путь, но Вера задержала, повисла на шее:

– И не вздумай, никуда не пушу! Ловкая выискалась. Вот закончится война, и съездишь, поклонись, а в нынешнее время и думать не

смея об этом. Все бы так раскатывали! Совсем с ума спятила!

Вера затолкала Надёжку в сенцы, Густя помогла. Вдвоём они окружили сестру и не пустили её, а та повторяла и повторяла:

– Уеду, всё равно уеду...

На шум вышел заспанный Григорий и, взглянув на баб, всё понял без слов. Когда же из сеней выкатилась Акуля, то у Григория уже не хватило сил слушать бабий крик. Зажав извещение в руке, он шмыгнул в сад, забился в вишенник и там, никому не показывая слёз, отвёл душу, выучив его до последней буковки. Он не знал, долго ли выли бабы, потому что просидел в кустах дотемна, стыдясь показаться на людях. Ему виделось, что все они узнали раньше его, что Павел погиб в штрафной роте, и теперь, чуть что не так, будут тыкать пальцем: у них, мол, вся порода такая – разбойники!

Наступившей ночью Григорий решил обмануть всех, загоревшись желанием иметь нового сына. Он не будет похожим ни на Ивана, погибшего до раскулачивания, ни на Павла, он будет особым, ничего не будет знать о жизни своего отца, а чтобы ему никто ничего не рассказал, он, Григорий, вместе с Акулей уедет из здешних мест. Куда-нибудь в Сибирь или ещё дальше. Эта мысль так обрадовала старика, так вознесла над миром, такую благодать опустила на душу, что он решил сейчас же идти к Акуле. По времени домашние должны были спать, хотя Надёжка ныне наверняка быстро не уснет, но если это будет так, то и тогда Григорий знал, что делать: нужно заманить Акулю в сарай... Так и решил действовать. На его удачу, дверь в сенцы оказалась открытой, он тихо прошёл сенями, потянул на себя избушку дверь, и увиденное разочаровало его... Акуля с Надёжкой стояли на коленях перед зажжённой лампадкой и шептали молитвы. «Бу-бу-бу...» – передразнил в душе Григорий баб, но всё-таки опустил рядом с ними на пол и, поглядывая на жену, отбил несколько земных поклонов. На большее терпения не хватило, и, раздосадованный, он ушёл в сарай. Там немного успокоился и решил всё-таки дождаться, когда бабы улягутся,

но не дождался: до самого рассвета они так и не прилегли. А к утру Григория самого сморило, даже не слышал, как сноха на работу ушла. Только помнил, что косой гремела... Косить-то в нынешний год начали намного раньше обычных сроков. Как решил Зубарев на правлении, так и сделали: раз мужиков нет, а без них, если косить в срок, бабы до уборки хлебов не управятся. Ни за что.

Надёжка уже возвращалась из лугов, когда увидела бежавшего навстречу Сашку. Она сразу и не придала его появлению значения, её мысли со вчерашнего дня были только о Павле, только о нём. Ругала себя, что поддалась уговорам сестёр и не ушла в Хрущёво. Пусть не было денег, она бы и без них доехала, по извещению. Авось никто не посмел отказать, а отказали бы, на крыше поезда приютилась, сейчас не зимнее время... «Вот погодите, — заочно грозила она сёстрам, — соберусь на днях и тайком уеду! А то заботливые нашлись!»

А Сашка тем временем подбежал, за подол начал тащить, даже отругал:

— Чего еле плетёшься? Не знаешь, что дед помирает!

— Откуда же мне знать? Что с ним?

— С печки упал и всё нутро оборвал... Еле дышит.

Она пошла быстрее, но после бессонной ночи, свалившихся переживаний — не было сил быстро идти, ноги подламывались. А как доплелась до избы — Акуля бежит навстречу, вся в слезах.

— Дочка моя милая, за что же горя на нас великие сходят, — запричитала старуха. — От одной раны не успели оправиться — новое несчастье! Дед расшибся... Он чего удумал-то? — Акуля приглушила голос, перестала всхлипывать: — Ты когда косить-то отправилась, я хозяйством занялась, потом ребятишки поднялись, накормила их кое-чем, и они на пруд убегли карасей кошёлкой ловить, ну а я всё по хозяйству топчусь... Шавель вчерашний решила убрать. На печь-то только забралась, глядь — дед наш откуда-то появился, говорит: «Ложись, мать, — сына буду делать!» — и юбки у меня задирает — рехнулся старик! Ну, я, как ты думаешь, брыкнулась, толкнула его, чтобы не

лез, а он на пол-то — хрясь и лежит, стонет. Я-то и говорю: «Хватит притворяться!» А он жалобно так отвечает: «Всё, мать, пропал теперь — жила нутряная лопнула!»

— Где он сейчас?

— На полу в избе лежит, разве подниму его!

Надёжка оставила Акулю и, турнув в сенях подвернувшегося Сашку, — в избу. Дверь раскрыла, а Григорий у самых приступок скособочился.

— Папань, что с тобой?

— Всё, девка, конец мне... За попом сходите, причастие хочу перед смертью принять.

— Папань, тебе на кровать перебраться надо!

— Нету сил пошевелиться...

— Помогу... Может, ещё кого-нибудь позвать?

— Не зови, нечего народ смешить. Сам попробую подняться...

Старик медленно подтянул ноги, потом долго и мучительно поднимался на дрожащих руках, а когда Надёжка хотела помочь, Акуля, наблюдавшая из сеней, остановила:

— Не надрывайся с ним! Он от своей дурости погибает, а ты ради чего хрип гнёшь?

— Не слушай ведьму... Дай-ка мне руку... Вот так, вот так... Хорошо...

Григорий еле-еле поднялся с пола, переломившись в животе, добрался до кровати и тяжело завалился на неё. Он был бледен, лоб покрыла испарина, а взгляд испуганный и тоскливый.

— Вы чего стоите-то, кого ждёте? В церковь идите! — отдышавшись, напомнил Григорий, посмотрев на сноху. — Да прежде попросите лошадь у Зубарева. Может, даст. Скажите, что последний раз старик просит. Ради Христа попросите, а то попы не любят пешком ходить — им тарантас подавай...

Вскоре бабы ушли какая куда, и старик остался один. В тишине он быстро забылся, а очнулся от чьего-то озорного голоса, распевавшего похабную прибабку. Прислушавшись, Григорий узнал Сашку:

*Дед с печки упал прямо на бабуся,
А бабуся родила девочку Марусю...*

Григорий опешил, потому что сразу догадал-

ся, что прибаску внук поёт о нём, но не мог понять, откуда Сашка всё узнал?! Это его удивило, а не прибаска. Помнится, он в детстве распевал точно такие же... Григорий позвал Сашку, но с улицы его никто не услышал. Неожиданно внук появился в избе сам: заглянул в кухню, сунул за пазуху шавелевую лепёшку и хотел улизнуть.

— А ну, стой, кошачья душа! — остановил дед. — Это ты недавно пел под меня?! От кого слышал?

— Ни от кого...

— Ухи ведь оборву, если не скажешь!

— А чего я! Это дядя Фокин научил...

— Почему сразу не сказал? Всё выкрутасничаешь! Ладно — беги на улицу, но если ещё услышу, то встану...

— И не встанешь, и не встанешь... — Сашка показал деду язык и на всякий случай быстрее за дверь.

«Ах, змей, — думал Григорий о Фокине, — радуешься, значит, смерти моей ждёшь! Нет в тебе угомону, вражина. Но не думай, так просто не помру — прежде тебя по миру пушу, узнаешь, как насмеяться!»

Мысль о мести родилась сразу, как только старик вспомнил, что Акуля прячет за божницей коробок с несколькими спичками.

Сегодня, сейчас, прежде чем умереть, он подожжёт Фокиных, ни дна им, ни крыши, пустит по ветру всё нахапанное ими за войну. Только для этого нужно добраться до божницы, взять спички, но Григорий чувствовал, что ему это не под силу, надо кого-нибудь просить. И спешить надо, а то Акуля заявится или Надёжка приедет. На дедову радость, в избе опять появился Сашка:

— Санёк, — позвал Григорий, — должно знаешь, что мать за попом поехала?

— Знаю, только не за попом, а за батюшкой, понял?

— Ладно, ладно — не ругайся... Вот о чём хотел попросить тебя... Сделай доброе дело — зажги лампадку, а то батюшка приедет, а лампадка не горит. Нехорошо.

Сашка внимательно посмотрел на деда — не устроил ли подвоха? — и пошёл к иконам. Забрался на лавку, с неё на стол, начал искать на

божнице спички. Нашёл. Со второй спички зажгёт лампадку и хотел коробок убрать, но старик остановил его:

— Ты это... Спички-то мне отдай, покурить захотелось.

— Умный какой! Бабка спички бережёт, чтобы огонек у икон по праздникам зажигать, а ты их на табак будешь тратить!

— А хочешь, вместе покурим, пока никого нет?

Сашка посмотрел недоверчиво:

— Не обманешь?

— Чего уж обманывать, когда ты почти мужиком стал. Я в твои годы знаешь как смолил! Давай сюда спички и табак неси.

— А матери не скажешь?

— Главное, чтобы ты не проболтался, а у меня всегда язык на замке. Сам знаешь.

Обрадованный Сашка отдал спички деду, принёс из сарая кисет с махрой, наполовину перемешанной с крапивой и дубовым листом. Григорий долго слюнявил сигарку, а когда склеил, то предупредил внука:

— Как хочешь, а для начала разрешу тебе только разок курнуть. Много нельзя, а то помереть можешь.

Сашка был согласен на любые условия, лишь бы по-настоящему покурить, а когда, хватанув дыма, закашлялся, то неожиданно обиделся на деда, когда тот улыбнулся:

— Чего смеёшься? Вот дурень... — и выбежал из избы.

Григорий этого и ждал. Он медленно сполз с кровати, кое-как выбрался в сени. Чтобы не привлечь внимания ребятни, как назло вошедшей у дома, старик вышел через заднее крыльцо и за двором сел отдохнуть, потому что совсем не осталось сил, а идти ещё далеко: нужно перейти заросший зелёным бурьяном свой огород, как-то перебраться через соседскую городьбу, а дальше по витой картофельной ботве — тоже несладко. Но это Григория особо не пугало: спички в кармане, вот только бы сил хватило... Держась за живот, он долго-долго шёл через бурьян, прислушиваясь к себе и чувствуя хлюпанье в нутре. Но ничего — кое-как добрался до городьбы, вцепился в жерди, передохнул, а когда стал перелезать, то

неловко упал и сам подняться уже не смог: перед глазами поплыли красные круги, и пот залил глаза. Старик заплакал от беспомощности, от обиды... И сразу сознание помутилось. Фокинская усадьба — такая близкая! — перевернулась, сползла под бугор, к ручью. Хоть и неясно, но ещё некоторое время старик видел окружающий мир, а когда опять захотел ползти к чужой усадьбе, сознание оставило его. Когда же следивший за ним Сашка подбежал и спросил: «Деда, ты чего развалился?» — Григорий внука уже не слышал.

— Дед, а дед, — начал он тормозить его, — чего притворяешься? Всё равно не напугаешь! Ишь прищурился-то!

Сашка сидел около деда и ждал, когда тот перестанет притворяться, а как увидел вернувшуюся Акулю — к ней побежал.

— Что с тобой? — всколыхнулась она.

— Там дед лежит, затаился... — показал он в сторону фокинской усадьбы. — Притворился, что умер!

— Чего мелешь?

— Сама посмотри!

Долгим воплем огласился порядок, когда Акуля увидела Григория неподвижным. Тяжело было узнать о гибели сына, но в ту смерть пока не верилось, а старик, вот он, рядом лежит: ни глазом не поглядит, ни слова не скажет.

— Отец, ты на кой же так сделал-то? На кой, спрашиваю? Я ведь уж в Высокое сбегала, Марью позвала. Она ведь все внутренние болезни заговаривает! Ты чего не дождался-то? Или обиделся на кого? На меня, дуру старую, чего обижаться. Я всю жизнь такая. Прости меня, прости ради Бога... — разговаривала Акуля как с живым; Сашка, взяв за руки Борису и Нинушку, стоял за её спиной, и все трое ревели в один голос.

К тому времени, когда Надёжка привезла священника, собравшиеся старики перенесли Григория в избу, Елизавета обмыла покойника, одела в голубую атласную рубашку и серые галифе. Если бы не полотенце, которым накрыли Григория, то можно было подумать, что он вот-вот поднимется с лавки и, оглядев всех, скажет: «Вы что, мать вашу в кривую ногу, рассопливились? А?»

Отвезти священника вызвался соседский старик. Отвязав мерина от крыльца, поудобней усаживаясь, он робко вздохнул, словно извинился за Григория:

— Без причастия умер! Каково ему будет там?

— Бог воздаст всем по заслугам... — многозначительно изрёк священник и отвернулся, и до самой Нижней слободы больше не проронил ни слова.

Хоронили Григория на следующий день. Могилу выкопали рядом с Ксенофонтом Михайловичем. Как и вчера, священник был хмур, отпевал покойника будто по принуждению, а когда Акуля сунула ему три червонца, занятых у Елизаветы, то повеселел, заулыбался, а после поминок, пропустив стопочку и другую, и вовсе разговорился.

Едва разошёлся народ и Акуля со снохой разобрались с посудой, как на обеих навалилась тоска.

— Как жить-то будем? — то ли пожаловалась, то ли спросила Акуля.

А Надёжке самой неведомо. Промолчала. Что говорить, когда вместо мыслей — горечь на душе, пустота. Жить не хотелось.

Очень быстро прошли одни поминки по Григорию, и следом вторые. Поминали старика компотом и печёными яблоками. Компот варили из груш, чтобы казался послаще. Яблоками и грушами и сами питались после поминок. Сашка, правда, прилачился ходить с Бориской на пшеничное поле за Барский сад и осмыгивать колоски. Когда же их поймал корсорукий объездчик по прозвищу «Не расти трава», то Сашка из осторожности в поле стал ходить один. Сам, конечно, наедался до отвала, а брату с сестрой приносил мягкого зернеца чуть-чуть, но на него не ругались: себя кормит — и то хорошо.

Чем длинней вытягивалась череда дней, тем сильнее подступали безысходность и обречённость. Не осталось сил надеяться на что-то лучшее, потому что за два года войны столько порушилось надежд, столько сладких грёз похоронено в постоянном ожидании, что жизнь окончательно пошла самотёком и невозможно было в ней что-либо изменить.

И СНЫ В УТЕШЕНИЕ

За работой дни летели — не догонишь. Чем ближе к осени — тем быстрее. В конце августа кое-кто стал выкапывать картошку. Савиным же о картошке никакой заботы — не сажали. В полях к этому времени зерновые скосили, часть снопов успели обмолотить, часть дожидались очереди около риг. Накрутившись у молотилки или намахавшись цепом, Надёжка приходила домой и спешила залезть на печку. Засыпая, она всякий раз думала, что так и не съездила к Павлу на могилку, заработалась, совсем закружилась.

Незаметно для себя она стала жить иной, особой и тайной жизнью. В этой жизни всё казалось ясным, никто не просил еды, никто ничего не требовал. Всяк жил тем, к чему оказался привычным. Она набиралась сил, когда случались такие дни, ждала их и радовалась, хотя ничего особенного не происходило: это были обычные сны. Чаще всего виделась с Павлом. Она встречала его, уставляла стол вкусной едой. Если ребята не спали, тоже садились за стол, тут же старики радовались. Надёжке делалось смешно, когда Григорий начинал угощать Акулю: то пирожок ей положит, то яблочко мочёное, а та и глазом не ведёт, будто давно привыкла к такому обхождению. Она посмотрит на них, и самой хочется сделать что-нибудь приятное — за Павлом начнёт ухаживать. У того тоже радость: схватит Нинушку и ну подбрасывать — развеселится, раскраснеется, начнёт Бориску на себе возить, а Сашке завидно — крутится возле отца, крутится, пока тот не скажет: «Залезай и ты заодно!» Вот веселье-то! Глаз не оторвёшь...

Иногда Надёжке снился кто-нибудь из соседей, чаще всего Фокины. Как-то привиделась сноха их Василиса: зашла и ну плакаться. «Ты чего, девка?» — спросила Надёжка. «Хорошего мало, — начала та гнать слезу, — свёкор житья не даёт, из дома гонит, говорит: «Война скоро кончится, и сын мой вернётся... К тому времени чтобы твоим духом тут не сквозило! Правную девку ему найдём, а ты порченная, гниль в тебе!» — «Ну и гад!» — крикнула Надёжка, да так громко, что от собственного крика очнулась,

выглянула с печи, будто Василиса действительно пришла в гости, а вместо неё Акуля и ребята за столом сидят как ни в чём не бывало, едят что-то и все удивлённо смотрят на неё. «Глазейте на здоровье, — подумала Надёжка, — мне от вас ни тепло ни холодно! Чем глаза-то пялить, к столу бы позвали. А то Надёжка им только успевай зерно таскать, а с кашей-то они и одни управляются. Ишь как скулы трещат! Смотреть на вас не хочу!» Она отвернулась, закрыла глаза и попробовала забыться, но голос Акули поднял, порадовал:

— Есть-то будешь сегодня? Или опять не евши ляжешь?!

— Мам, — позвал Сашка, — иди к нам. Пшеничка хорошо упарилась — объеденье!

Надёжка вроде повеселела, а за стол села — аппетита нет, будто только что пирогов с вареньем наелась или ещё чего вкусного. Хотела развеселиться, разогнать гнетущие мысли о Павле, но так и не смогла. Позже молчком забралась на кровать, притворилась, что уснула. Через какое-то время и правда задремала и увидела себя будто со стороны в большом и высоком зале... Множество ступенек уходило в глубину зала, ступеньки возвышались до потолка, и она замерла, когда увидела на самой верхней свёкра, а справа от него Павла. Оба — в белых одеждах до пят, и одежды колыхались, словно на ветру. Отец с сыном начали спускаться по ступенькам, она всё отчетливее видела их лица, а Павел — как живой! Улыбается, радостно поглядывает на отца. «Вот счастливые!» — позавидовала Надёжка... Когда осталось несколько метров, они остановились. Свёкор выбросил руку из складок, перекрестился и спросил:

— Как поживаешь, дочка? Как внучата, не шалят?!

Она не знала, что ответить. Необыкновенная робость заполнила душу. «Что с ними произошло? — терзалась Надёжка. — Почему они так одеты и так странно ведут себя?»

— Милая моя, — Павел подошёл совсем близко, — разве не слышишь отца? Почему молчишь? Или, может, и со мной тебе не хочется говорить? Отвечай, жду! — Павел хотел ещё что-то спросить, но оглянулся, заметив спускающегося по ступенькам человека.

Оглянулся и Григорий. Надёжка взглянула туда, куда смотрели они, и узнала в приближающемся человеке брата Дмитрия. Он поздоровался, и все мужчины сели на ступеньку. Она увидела на всех смешные нездешние сандалии, державшиеся на слабых тесёмочках, хотела спросить, почему они столь легко одеты и обуты, но новый человек, спускающийся по ступеням, привлёк внимание. Он был высок, молод... Верин сын! Фёдор! И он здесь... Следом за Фёдором, отдуваясь и с опаской ступая по крутым ступеням, показался Ксенофонт Михайлович. Увидев его, Григорий встал, шагнул навстречу, и они по-братски обнялись, расцеловались.

— Проходи, друг, — пригласил Григорий. — Посидим, поговорим. Когда ещё вот так встретимся! — они спустились к людям, присели.

Надёжка не понимала, зачем собираются умершие, что за интерес вместе колготиться? Ведь если создать всех погибших и умерших за войну сельчан, то и места не хватит. А если со всего района собрать, области, со всей страны? Только подумала, глядь — ещё кто-то прыгает по ступеням. Пригляделась — не узнать. Мужчины тоже переглянулись.

— Ты кто? — сердито спросил Григорий.

— Вот и забыл, отец... Помнишь, у вас кавалеристы постоем стояли? Я один из них. Ты ещё ругался на меня...

— Вспомнил! Как беса рыжебрового не вспомнить... погоди, а ты зачем к нам прилепился? Мы тебе не компания. Ты ведь с фронта живым вернулся. В сторону отходи!

— Отец, не спеши отпихивать... Верно говоришь, что живым вернулся, да только всегда не может везти... Той же зимой я в прорубь провалился — до весны подо льдом жил, а как лёд сошёл и растеплилось — не помню, что со мной стало: должно быть, рыбы расклевали...

— Ладно, — вздохнул Григорий, — тебе не позавидуешь... Проходи. Наш.

Не успел рыжебровый присесть, как на лестнице ещё кто-то показался. Пригляделась Надёжка — а это плотник Пантелей Иванович семенит. Тот самый, что в прошлом году народ на помочи собрал поправлять обвалившуюся избу.

— Иваныч! — обнял Григорий старика. — Что же припозднился?

— Работы много. Забыл, что война идёт — горя одни кругом!

— Не переживай... Слышал, как немцу под Курском и Орлом сопатку набили? Считай: под Москвой — раз, на Волге — два, а сейчас — три! Трижды по-настоящему лупцевали. Теперь ему не удержаться. Погонят вспять, поверь мне!

Пока мужики разговаривали, ещё кто-то подошёл — коротко стриженный. Приглядевшись, все узнали непривычно похудевшего Бирюкова.

— А тебя кто звал? — спросил Григорий у первого секретаря. — Опять шоколадом станешь хвалиться? Вон как сумка-то распухла. А ну покажь! — Григорий подступил к Бирюкову, не церемонясь расстегнул полевую сумку и действительно достал несколько плиток шоколада: — Неплохо живёшь!

— Зачем вы так? — опустил Бирюков глаза. — Меня уж полгода в живых нет. Цвирко ещё в мае повестку доставил. А шоколад трофейный. Ешьте, товарищи, угощайтесь!

— Бать, — шепнул Павел отцу, — зачем же так говоришь-то? Ведь заберут после таких слов, сегодня же захомутают!

— Нет, сынок, нам теперь ни одна власть не страшна! Чего они с мёртвыми сделают!

— С нами-то ничего, а вдруг начнут семью притеснять?

— Эх вы, — покачал головой Бирюков, — какие у вас, товарищи, наивные представления о людях, о жизни! Вы горазды замечать только плохое, а того не знаете, что за те несколько лет, пока был первым секретарём в вашем районе, я постарел на полжизни, семью потерял. Будет вам известно — у меня сын на фронте погиб. Пошёл вместо него, и меня не стало...

Бирюков замолчал, молчали и все остальные, и в наступившей тишине отчетливо раздался стук солдатского ботинка. Все оглянулись на ступеньки, а по ним что-то небольшое прыгает, и тоже в белой накидке. Когда предмет приблизился, Григорий поднял руку:

— Стой!

Предмет остановился и оказался человеческой ногой в обмотках.

– Ты чья? – спросил Григорий.

– Я – нога Егора Кирьяновича Петухова... Он сегодня председательствует на исполкоме сельсовета, поэтому вместо себя послал и сказал на дорогу: «Ты по всем правилам потерянная нога, и мне за тебя не стыдно, а поэтому иди и достойно говори от моего имени!»

...Надёжка не почувствовала, как проснулась. Её бил озноб. Подошедший Сашка поднял свалившееся одеяло и по-взрослому укорил:

– Развалилась гольшом... Простыть захотела?

Она ничего не ответила, а продолжала жить той жизнью, какую видела во сне, и очень сожалела, что не успела проститься с Павлом... На работу собиралась словно в угаре, а когда жевала размоченные в кипятке сушёные яблоки, то заполошный Сашкин крик окончательно привел её в себя.

– Мамка, мамка – грачи прилетели! – кричал он, растворив дверь. – На берёзах каркочат – иди посмотри!

– Какие грачи?! – шумнула на внука Акуля. – Их весной-то не было, а теперь... Закрой дверь – заморозишь всех!

Но Сашка не отставал. Он схватил мать за руку и потянул за собой. Действительно, все берёзы на Бутырском порядке оказались усеянными большими чёрными птицами. Откуда их столько взялось?!

– Кыш, вороньё поганое, кыш, – замахала на них Надёжка, но её слов птицы не слышали из-за собственного грая. Казалось, что они радовались поднявшемуся ветру и лиловой снеговой туче, заслонившей полнеба... На малое время ветер успокоился, но новая плотная волна принесла и закружила крупный, липкий снег, кинула в лицо. Сашка испуганно прижался к матери. Молчал. Вскоре из избы пришли полуодетые Бориска с Нинушкой. Надёжка взяла их на руки, прижала к себе, стала целовать и зарыдала. За всю войну она не пролила ни слезинки, а сейчас не могла и не хотела сдерживать себя...

А снег всё валил и валил.

Шла новая зима.

Владимир Дмитриевич ПРОНСКИЙ

родился в 1949 году в городе Пронске Рязанской области.

Прозаик.

Публиковался в журналах «Север», «Наш современник»,

«Молодая гвардия», «Москва», «Подъём», «Странник»

и во многих других, в коллективных сборниках, альманахах.

Лауреат премии имени А.С. Пушкина,

международной литературной премии имени Андрея Платонова,

премии Союза писателей России «Слово-2018»,

а также премий нескольких литературных журналов.

Секретарь Союза писателей России.

